

Старомосковский детектив



ЕЛЕНА СЕМЕНОВА

**ВЕЛИКИ АМБИЦИИ,
ДА МАЛА АМУНИЦИЯ**

Елена Семёнова

**Велики амбиции,
да мала амуниция**

«ЛитРес: Самиздат»

2008

Семёнова Е. В.

Велики амбиции, да мала амуниция / Е. В. Семёнова — «ЛитРес: Самиздат», 2008

Москва. 70-е годы XIX века. Окончилась русско-турецкая война. Толстой и Достоевский – властители умов. Общество с неослабным интересом следит за громкими судебными процессами, присяжные выносят вердикты, адвокаты блещут красноречием, а сыщики ловят преступников. Газеты подстрекают в людях жажду известности, славы, пусть даже и недоброй. В Москве орудует банда беглого каторжника Рахманова, за которым охотится вся московская полиция во главе с Василием Романенко. Тем временем, Пётр Вигель становится помощником знаменитого следователя Немировского. Его первое дело вначале кажется простым: застрелен ростовщик, и все улики указывают на его сожительницу, странную даму, именующую себя Самаркандской княжной. Однако, в ходе следствия возникают факты, ставящие эту версию под сомнение и, в итоге, приводящие следствия к неожиданным результатам. На фоне этого разворачивается история первой любви Вигеля к юной бесприданнице Ольге. В романе ярко представлены быт и нравы Хитровки, шулеров, а также купечества и обедневших благородных фамилий.

Содержание

Пролог	6
ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ	24
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Пролог

Шампанское пенилось и выплёскивалось из раскрытого рояля.

– Господа, эт-то штор-р-р-м!!! – взревел Андрон Панкратов, купец первой гильдии, врачая налитыми кровью глазами, и стал дуть на пену, раздувая красные лоснящиеся щёки.

– Хозяин, а игде рыба-то??? – завопил цыганского вида купчик, опрокидывая рюмку водки.

– Будет вам рыба-с, господа, – устало отвечал хозяин ресторации, радостно подсчитывая в уме, сколько заработает его заведение на этом купеческом гулянии.

– А что за рыба? – спрашивали захмелевшие посетители, сгрудившись вокруг наполненного шампанским рояля.

– Увы, для наших сомов и осетров места в рояле мало, а потому, извольте видеть, кильки да сардинки, в основном-с.

Наконец, пена сошла, и в золоте безжалостно загубленного вина появились мелкие рыбёшки. Рёв какого-то звериного восторга приветствовал это.

– Хозяин, хлеба подай! Прикармливать их будем!!! – заорал кто-то.

Немедля подали хлеб, и бородатые здоровые мужики, купцы всех гильдий, веселясь под стать малым детям, начали крошить его в шампанское.

– Эх, гулять-колотить! А ну, как, господа, махнуть бы таперича по Волге-матушке! Как прашуры наши, на строгах... – пьяно крикнул молодой купец с рыжеватой бородой, комкая в руках блин вместо салфетки.

– Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны

Выплывают расписные

Востроносые челны!.. – забасил Илья Давыдович Докукин, богатырь двухметрового роста, известный на всю Москву купеческий сын, прожигавший отцовское наследство.

– Ох, Илюха, тебе б в певчие церковные, Господу нашему славу петь – цены бы не было! Слышал я, быдто сам иерей хвалил тебя? Вот, на Знаменке дьякон один есть: так у него голощице – ох-ох-ох! Стены Божиего храма сотрясаются! От такого все бесы прочь прячутся, в самое что ни на есть пекло!

– Гулять-колотить! По что ж ты, Илюша, примолк? Потешь душу!

– Волга-Волга, мать родная,

Волга русская река,

Не видала ты подарка

От донского казака!

– Ох, сукин сын! – рывкнул Панкратов, утирая слёзы. – Всю душу вынул и перевернул... А, вот, прав был Разин! Так с ними, с бабами, и надо! За шиворот да за борт её! И учить курв кулаком почаще, чтобы мужу слова поперёк сказать не смели!

– Чай, кабы дочку твою кто разобидел, ты б, Игнатич, кулаком бы тогда шельмеца поучил!

– Дочь – дело другое, – Панкратов стукнул кулаком по столу. – Мою дочь только сам я, Андрон Панкратов, учить право имею! Потому как моя собственность! Моя кровь!

– Небось, за князя какого отдать её думку имеешь?

– А и не всякий князь Груши моей стоит! Краше девки на всю Москву нонече не сыскать! Зря, что ли, учителей я ей водил?! Чтоб, аки благородная, выступать могла. И любой графиньке-шишиморе моя Груша нос утрёт!

– Эк понесло-то тебя, Игнатич, эх понесло! – ухмыльнулся Козьма Русаков.

– Молчи, шельма энтакая! Аль я, по-твоему, не ведаю, что сынок твой под Грушку мою клиношки подбивает? Да, вот, выкусите! – Панкратов показал всем кукиш.

– А, чёрт с тобой, старый ты рассатраповский сатрап! – махнул рукой Русаков. – Давай лучше ещё по чарочке!

– И то верно!

Между тем, Илья, пошатываясь, подошёл к сидящему в углу скромно одетому молодому ещё человеку со светло-русой бородой и длинными до плеч волосами.

– Ты чего, кимряк, не весел? – прорычал он. – Аль не нравится тебе наша компания?

Кимряк покрутил ус и отозвался:

– Компания, как компания. Не хуже и не лучше других. А веселье ваше и впрямь не по мне.

– Это оттого, что выпил ты мало! – назидательно произнёс Докукин. – Это же и неприлично прямо, и нам всем обида. Сидишь здесь, что филин мрачный, трезвый почти да только глазами на нас зыркаешь.

– Напиваться пьяным желания не имею и удовольствия в том не нахожу. Слушай, Илья, зачем ты, вообще, меня потащил с собою? Я не дюже богат да и на Москве человек новый. Окромя Ямского нашего приказу и не видал толком ничего...

– Так для того и потащил, Прошка, чтоб повидал! Эх, Прошка, экой ты, право, сапог! Вот, как есть сапог! Все вы, что ли, кимряки, такие? Окромя своих сапог ничего не знаете?

– Разные есть, – отозвался Прохор. – Дело своё мы справно знаем: то истинная правда. Но отчего же только его? У нас и весьма учёные люди найдутся. Кабы все мы сапоги были, так разве матушка Екатерина едино нам, кимрякам, вольность бы пожаловала? А куролесить да опиваться до безобразия полного – так то большого ума не требует.

– За последние слова твои не оскорбляюсь на тебя нынче только оттого, что пьян и потому добр и весел! А на будущее ты мне попрёков делать не смей и учить меня! Отцовыми поучениями по горло сыт. Довольно!

– Вольному воля, Илья!

– И всё-таки я не уймусь, пока не развеселю тебя! До вина ты не падох... Что ж, полюбуешься на кралей наших.

– Сохрани Господь! Избавь меня от твоих Мимочек и прочего зверинца! Иначе я ей-Богу уйду!

– Не сметь! Я тебя пригласил, как друга своего, а ты меня оскорбить желаешь?! – громыхнул Илья. – Да знаешь, кто будешь после этого?!

– Хорошо-хорошо, я не уйду и дождусь конца вашего веселья, но не неволь меня ни к чему и не пытайся толкнуть в объятья какой-нибудь подлянки. У меня есть невеста, и я люблю её.

– Тьфу на тебя, Прошка... А ещё друг! Для него ж стараешься, а он не ценит! – обиженно буркнул Илья. – Невеста... Где она – невеста-то?

В этот момент хозяин ресторации провозгласил:

– А теперь, господа, попрошу внимания! Настало время для самого экзотического блюда нашего меню, самого сладкого десерта! Шансоньетка с гарниром!

Прохор поморщился, отпил глоток вина, поднял глаза и поперхнулся от увиденного. Четверо половых внесли в зал огромный поднос, на котором среди разнообразного гарнира, самого настоящего, лежала абсолютно голая молодая женщина. Лицо её было сильно накрашено, но Прохор не мог не узнать его... Ещё год назад это лицо преследовало его, как наваждение, не отпускало, манило, сводило с ума.

Прохор Алексеевич Голенищев происходил из семьи потомственных кимрских сапожников, чья обувь славилась прочностью и удобством по всей России. Отец Прохора, человек предприимчивый и не лишённый некоторого образования, бывал за границей, изучая там новые

машины, и по возвращении в родные края создал небольшую артель, приобретающую вскорости масштабы целой мануфактуры. Двух сыновей Алексей Алексеевич постарался также в нужных пределах приобщить к наукам. Старший, Фёдор, с ранней молодости взялся помогать отцу в его деле, Прохор же имел к тому меньшую склонность, хотя и отличался добросовестностью во всём, что поручалось ему. Отец, впрочем, не особенно давил на любимого младшего сына, позволяя ему до определённой степени жить по своей охоте. Тем более, что Прохор отличался тихим нравом и богобоязненностью, а потому особых опасений родителю не внушал.

Ещё в отрочестве Прохор подружился с соседской девочкой-сироткой, Мариной, которая жила у тётки, имевшей пятерых родных детей и державшей племянницу в чёрном теле. Тётка Мария Кирилловна была женщиной властной и деспотичной. Даже собственный муж боялся её и оттого считался образцовым семьянином: никогда не смел он ни заглядеться на других женщин, ни выпить в компании, а в церкви стоял с видом сокрушённым, потупив очи долу. В семье царил прочный и неколебимый матриархат.

Марина с ранних лет отличалась редкой красотой. Красотой не волжской, не русской даже, но какой-то восточной. Прохору казалось, что персиянка, которую бросил за борт Стенька Разин, должна была быть похожа на Марину. Ни дать – ни взять персидская княжна! Будто бы огонь разлит в ней и выхода не находит! Вулкан, а не девка! Чаровница! А ещё у Марины был необычайно сильный и красивый голос. Бывало, сидя на берегу Волги, она заводила ту самую песню, про Стеньку Разина, и голос её разносился, кажется, на несколько вёрст по реке...

Марина уже в четырнадцать лет была писаной красавицей, с которой не могли сравниться и старшие её подруги, уже невесты. Когда плавною поступью проходила она по улице, задорно поглядывая из-под длинных ресниц бархатными, фиалковым глазами, мужчины – от юношей до стариков – провожали её восторженными взглядами, а женщины кривились.

Однако, именно в тот год Марина вдруг сильно изменилась. Она стала печальной, нервной. Казалось, что что-то гнетёт её, гася прежнюю резвость и весёлость. Прохор не раз спрашивал девушку о причинах её грусти, но та упрямо хранила молчание.

Минуло два года. Прохор, коему в ту пору исполнилось лишь восемнадцать, чувствовал, что всё больше привязывается к Марине, так что это уже походило на болезнь. В то время в Кимрах проездом остановился модный в ту пору литератор, колесивший по Волге, дабы написать большую поэму не то о Стеньке Разине, не то ещё о чём-то. Случилось ему увидеть и, главное, услышать красавицу Марину. Литератор сплеснул руками:

– Се маньфик!¹ Божественно! Вы же готовая персидская княжна! О, я, быть может, напишу пьесу! Мы сделаем оперу... Да что же вам делать в этой глуши! Ваше место в Москве, в Петербурге! На сцене! На обратном пути я непременно, непременно вернусь за вами! Божественно!

Марина была вне себя от радости:

– Прошенька, представляешь ли ты? Я, Маришка Бояринцева, вдруг выйду на сцену Императорского театра! И мне будут рукоплескать! Какое чудо!

– Ты бы не слишком доверяла этому господину... – заметил Прохор. – Мало ли... Может, пошутил он с тобою...

– Нет, он не мог! Это же известный писатель! И, по всему виду, человек благородный!

Проходили недели, а литератор всё не объявлялся. Марина мрачнела день ото дня, избегала даже Прохора. Неожиданно в какой-то июльский день он получил от неё записку:

«Бесценный мой дружочек Прошенька, голубчик! Я пред тобой виновата, так как вот уже месяц ни за что обижаю тебя, избегая встреч. Прости меня и приходи сегодня вечером на наше место!»

Едва дождавшись вечера, Прохор поспешил к указанному месту, где обычно встречались они в стороне от людских глаз. Сердце замирало от самых разных предчувствий: что сулит встреча это? Прогонит ли навовсе, или наоборот откликнется, наконец, на любовь его?

Марина сидела на берегу и плела венки. Солнце алой полосой догорало за рекой, и дневная духота сменялась ласковой, наполненной ароматом трав, цветов и леса вечерней прохладой. Увидев Прохора, Марина отложила венок и поднялась ему навстречу:

– Здравствуй, Прошенька!

– Здравствуй... Случилось что, персияночка моя ненаглядная?

– Нет, Проша, ничего... Просто увидеть тебя хотела. Ведь слышу же я тоску твою... Не могу не слышать.

Марина подалась вперёд, коснулась тёплыми ладонями плеч Прохора, прильнула к нему взволнованно поднимающейся грудью. Прохор почувствовал, как затягивают его фиалковые её глаза-омуты, от взгляда этого, от прикосновений её его бросило в жар, и по телу разлилась сладкая истома.

– Ты что, Маришенька, ты что? – прошептал он охрипшим вдруг голосом.

– Ничего, голубчик... Милый мой...

На мгновение Прохору сделалось не по себе. Первый раз был он так близок с женщиной. Это волновало и пугало. Влажные губы Марины прильнули к его, пересохшим. Прохор обнял красавицу и почувствовал, как её пальцы расстёгивают на нём рубашку. Ещё несколько мгновений, и его руки ласкали горячее, нежное тело девушки. Уже позднее, вспоминая эту ночь, Прохор заметил, что Марина вела себя уверенно, ничуть не робея... Безошибочное чутьё страстного, неуправляемого женского естества? Или... опыт? Но откуда же такой опыт у шестнадцатилетней девушки? Однако, в ту ночь Прохор не обратил на это внимание, он наслаждался обладанием ею, полным обладанием самой прекрасной женщиной на свете. Когда уже задымалась заря, Прохор в изнеможении шепнул:

– Теперь ты моя, милая персияночка. Только моя.

– А за борт не бросишь меня, как Стенька? – отозвалась она, прикинув к нему тёмно-кудрой головой.

– Никогда... Я тебя любить буду. И отцу скажу, что ты моя невеста!

– Голубчик ты мой, – Марина погладила Прохора по русым волосам. – И как же я без тебя буду?..

– Ты со мной будешь... – отозвался Прохор, лаская её.

Он задремал совсем ненадолго, а, когда очнулся, было уже утро, а Марина исчезла куда-то... Домой Прохор вернулся лишь к полудню и там узнал от брата сокрушительное известие:

– Маришка-то твоя с господином литератором сей ночью сбежала!

– Врёшь! – закричал Прохор.

– Охота мне приспела врать тебе! Он же ещё накануне в город приехал. Только уж потихому, без шума. Филька ещё подвозил его. А Маришка тётке письмо оставила. Да только, что в нём, от неё недомочься. Говорят, как прочла его, так с нею худо сделалось. Врач приходил, кровь отворял... Кстати, тебе она тоже письмецо оставила.

– Где?!

– Вот, – Фёдор протянул брату запечатанный конверт.

Не помня себя от горя, Прохор взбежал в свою комнату и там дрожащими руками распечатал письмо и прочитал:

«Милый мой голубчик Проша, следовало тебе меня, змею подколотную, утопить... Уезжаю я в Москву с господином литератором, что приехал за мною, как обещал. Не поминай меня лихом и не суди: ты слишком многого обо мне не ведаешь (дай Бог и не узнаешь!), чтобы судить... Прощай! Твоя персияночка».

Прохор взвыл, как раненый зверь, повалился на пол и зарыдал. Целый год Прохор оправлялся от постигшего его горя и вызванной им болезни, после чего отец, поругавшись на то, «какая нонеча молодёжь шибко изнеженная пошла», отправил его за границу. Оттуда Прохор вернулся уже вполне здоровым. Пережитое казалось ему теперь каким-то наваждением, временным помешательством, почти постыдным. «Может, в самом деле, ведьмой она была да приворожила так?» – мелькала иногда мысль. Иногда Марина снилась ему, но вскоре сны эти стали реже и, наконец, вовсе прекратились.

В то время Прохор сошёлся с милой и доброй девушкой, семнадцатилетней Варей, дочерью живущего в соседнем городе близкого друга своего отца. Прохор и прежде знал её, но не обращал внимания, увлечённый одной лишь Мариной. К тому же Варенька выглядела в то время ещё совсем ребёнком. Даже теперь в её тонкой фигурке сохранялась ещё какая-то угловатость, впрочем, добавлявшая ей хрупкости и невинности. Варя не была красавицей, но отличалась кротостью, добротой и скромностью. Эта нежная девушка, похожая на нераспустившийся ещё бутон, очень полюбилась Прохору. Он стал бывать у неё часто и, наконец, сделал ей предложение. После помолвки отец отправил младшего сына по делам в Москву, так как Фёдор имел неосторожность сломать ногу и ехать не мог.

Всего ожидал Прохор от Москвы, но только не такой чудовищной встречи! От вида обнажённой Марины, лежащей на подносе с гарниром, вызывающей хохот пьяных купцов, кровь бросилась ему в голову. Прохору хотелось убежать, провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть этого зрелища. Как сквозь туман долетал до него торжественный голос хозяина:

– Поскольку наше изысканное блюдо весьма редко-с, то отведать его сможет только тот, у кого на сие удовольствие хватит средств! Аукцион, господа! Делайте ваши ставки!

– Тысячу рублей! Теперь же! – крикнул рыжебородый купчик.

– Тысячу пятьсот! – рявкнул Панкратов.

– Две! – подал голос Русаков, откупоривая бутылку шампанского.

– За такое вкусное блюдо и двух не жалко!

– Полакомимся!

– Две с половиною даю!

– Две с половиной раз! – поднял руку хозяин.

Прохор скомкал салфетку, опрокинул рюмку водки и, поднявшись, сказал:

– Три тысячи!

Докукин удивлённо поглядел на приятеля:

– Эхма! Вот те и смиренник! Не зря говорят в тихом омуте черти водятся... Но ты прав, дружище: блюдо-то и впрямь скусное, и приправ не надо... Я сам думал силёнки попробовать, но, раз уж тебя так разобрало, то уступаю. Если не хватит, так я за тебя доплачу! Мне моих Зизи и Лили, и Жозефины достанет...

– Четыре! – громыхнул Панкратов, разрубая воздух жилистой рукой.

– Игнатъич, оставь дочке на приданное! – осклабился Русаков.

– Не про твою честь ейное приданное! Захочу – и сам растрочу теперь же! Моё добро! А ты не лезь! Что, кишка тонка – пять тысяч за энто блюдо предложить?

– Отчего ж, Игнатъич? У меня дочерей, слава Господу, за неимением! Пять!

– Сволочь! – зарычал Панкратов, хватая Русакова за грудки.

– Господа! Господа! Прошу не устраивать в нашем заведении мордобитья!

Подскочившие половые проворно разняли соперников.

– Самодур! – визгливо крикнул Русаков.

– Шесть тысяч! – выдохнул Прохор.

– Шесть тысяч – раз... Шесть тысяч – два... Шесть тысяч – три! Продано! Вы теперь уплотите-с или векселёчек-с? – хозяин любезно улыбнулся Прохору.

– Он теперь уплотит! – ответил Илья, вытаскивая из-за пазухи пачку банкнот и швыряя их хозяину.

– Премного благодарен-с! Господину будет угодно-с здесь угощаться, или же попотчеваться изысканным блюдом где-нибудь в ином месте-с?

– В ином! Наряди энту экзотическую селёдку в шубу, усади в мои сани, а господин уж сам ея свезёт, куды потребно. Понял, али нет?

– Как не понять! В наилучшем виде-с всё сей же час будет! – хозяин раскланялся и исчез вместе с «блюдом» и державшими его половыми.

– Илья, я благодарен тебе, конечно, но ведь я бы мог и вексель подписать... – начал Прохор.

– Какой, черти тебя забери, вексель?! За мой счёт гуляем сегодня! У меня именины!

– Какие именины? Они были у тебя, как мне помнится...

– Не важно! И нуден же ты, Прошка! У русского человека именины тогда, когда они сердцу евонному потребны. А моё сердце всегда их требует! Масленицу опять же спроваживаем! Веселись, народ православный, гуляй во все тяжкие, пей до полного упокоя! Эхма! Да чего объяснять тебе!

– Деньги я верну тебе, Илья.

– Не смей! – Докукин показал свой громадный кулак. – Не смей обижать друга! А то я ить и прибить могу. Знаешь ты хоть, душа пропадающая, куда везти свой трофей?

– Не знаю... – признался Прохор.

– В Святые номера свезёшь! Что на Трубной! Там скажешь, что от меня: меня там все знают – лучший номер дадут. Куда ехать, Гаврила мой знает. И, смотри там, денег никому не давай. А то оне, твою невинность почуяв, вмиг обнаглеют и ободрать решат. Скажешь, Илья Докукин за всё платит!

– Илья...

– После сочтёмся! Ну, брат, с Богом! Езжай уж, а не то «блюдо» остынет. Эхма! Завидую, брат, если честно! – Докукин крепко обнял приятеля, и Прохор покинул ресторацию, провожаемый завистливыми и недружелюбными взглядами.

Сани уже стояли наготове, тройка быстрых коней, коими безумно гордился Докукин, нетерпеливо били копытами о снег, фыркали, потряхивали гривами. В санях сидела, укутавшись в меховое мантио, Марина. Прохор закусил губу и, сев с нею рядом, велел ямщику:

– Трогай, Гаврила. Знаешь, небось, куда?

– Как не знать, барин! – отозвался ямщик. – Н-но, милые! Балуйтесь!

Кони сорвались с места, в лицо ударил холодный ветер, смешанный с редким снегом. Тускло освещали московские улицы масляные фонари, изредка проносились мимо чужие сани: богатые и победнее, но все празднично убранные, во всех почти – хмельные, весёлые люди, шумящие, поющие. Провожали зиму, которая, не спешила уходить и создавала иллюзию своей вечности, неизменности, навсегдажности. До сожжения Масленицы оставалось лишь несколько дней. После надлежало всем примириться, притихнуть, смирить страсти и молиться, приготавливаясь к Воскресению Христову. И в эти последние перед Великим Постом дни гулял народ, будто в последний раз.

Ехали всю дорогу молча. В заведении, прозванном Святыми номерами, расположенном при ресторане «Эрмитаж», гостей встретили, как родных:

– От Ильи Давыдыча? Всегда рады-с! Пожалуйте-с!

Пышная дама повела их в просторный номер.

– Будут ли какие-нибудь указания-с? – осведомилась она у Прохора.

– Нет-нет, – покачал головой тот. – Одна просьба: не беспокоить.

– Известное дело-с! Как можно-с! – закивала дама с понимающим видом и исчезла.

Проход вошёл в комнату и запер дверь на ключ. Марина с каменным лицом лежала на постели. Увидев его, она распахнула свой балахон (более под шубою ничего не оказалось), обнажив белое, красивое тело, и усмехнулась:

– Ну, милый, давай. Иди ко мне...

Проход сплюнул:

– Дура! Прикройся немедленно!

Марина покорно запахнула балахон, села на постели, обхватила руками ноги и, положив голову на колени, исподлобья взглянула на Прохода. Он же закурил папиросу, нервно прошёлся по комнате и, наконец, опустился на стул.

– Что ж ты сидишь, Проша? Утро уж скоро, – заметила Марина. – Для чего ж ты шесть тысяч-то на меня извёл? Отец-то, поди, осерчает.

– Как ты могла? – вскрикнул Проход. – Как ты до такого дойти могла?! За меня замуж не пошла, а здесь... Здесь...

Марина поправила разметавшиеся чёрные волосы:

– Твоё счастье, что замуж за тебя я не пошла. Зачем тебе такая жена, голубчик Проша? Извела бы тебя и только...

– А как же твой литератор? Театр?

– Театр... – Марина рассмеялась. – Вот, мой театр... Видел ты... А литератор... В любви клялся, букетами да духами задаривал. Привёз в Москву, квартирку снял. Вначале жил со мною. Потом – наведывался частенько. Помилуемся с ним ночку-другую, а с тем и уйдёт... Потом – реже... А потом – вовсе исчез. Денег у меня не осталось. Из квартиры съехать пришлось... Так и началось всё: один, другой, третий... А в «Саратове» я шансоньеткой числюсь. Жемчужина Персии! Песни пою, непристойные танцы отплясываю и...

– Замолчи! – Проход вскочил со стула. – Я не желаю слушать! Я не верю, чтобы ты такой стать могла! Скажи, почему ты не вернулась домой?

– Домой?! – Марина привстала на постели. – Это к извергу-то???

– Кого ты имеешь ввиду?

– А ты так ничего и не знаешь? Что ж, тётка Маша ничем раскрывшейся тайны не выдала?

– Мария Кирилловна скончалась. С ней удар сделался после твоего побега. А муж её пьёт теперь горькую... С тоски по ней...

– Надо же... – Марина опустила голову. – Что ж, Бог мне свидетель, я не желала её смерти... Я лишь хотела ему отомстить...

– Да кому же, наконец?

– А дядьке моему, Тимофею Трофимычу! – на лице Марины выступили пятна. – Вина нет?

– Нет!

– Жаль!

– Да чем же тебя Тимофей Трофимович-то досадил? Он ведь совершенно безобидный человек. Тише его и нет никого во всём городе!

– Уж конечно! На людях он тихий был. Тётки смертельно боялся, вот, и виду не казал... Развратник-тихушник... Ничтожество... На стороне развлекаться – узнают, выдадут. Зачем рисковать? Когда в собственном доме жёнина племянница-красавица подрастает, сиротка, за которую вступиться некому!

Проход побледнел:

– Что ты хочешь сказать?..

– Да ты не волнуйся, Проход Алексеич! Ты слушай, слушай! Всю правду слушай! Ей я эту правду в письме написала! Она и померла-то, её узнавши и не выдержав. Так и ты узнай! Мне четырнадцать годков тогда стукнуло... Дядька-то мой уж и прежде шибко ласков со мною был, когда тётки поблизости не было. То платочек подарит, то конфету вкусную, да поглядывай...

вал всё, аки пёс голодный на кость. Тётка частенько по делам уезжала. Так, вот, он момент и улучил... Дома никого не было. Подошёл он ко мне, улыбается, погладил так ласково-ласково, а потом рот мне ладонью загородил и в амбар поволок, а там уж натешился вволю... Потом предупредил, что, коли я рот раскрою, так он мне его навсегда затворит, да добавил, что всё одно мне никто не поверит. Денег дал... Я понадеялась было, что на том и отстанет он. Но не тут-то было! С этого раза он сам не свой сделался. Глянет на меня, и глаза так и загорятся. А, чуть тётка в отъезд, так уж он ко мне. Я и не противилась больше. Об одном только мечтала: отомстить однажды и ему, и тётке. Ей я мстила уже тем, что муженёк её со мною ей изменял. Но до чего ж мерзко-то! Как начнёт он руками своими холодными теревить меня, так и жить мне не хотелось! А ещё словечки ласковые на ухо шепчет... Мерзость-то! И деньги после исправно оставлял: «Купи себе, Маринушка, чего твоей душеньке угодно!» Сказать кому – стыдно было. От него, от стыда этого, и сбежала! Ах, Проша, да я от него не то что с литератором, я бы с бродягой последним дёру дала! И не по ней он теперь тоскует! А по мне! Сколько раз говорил, что её придушил бы да со мною бы открыто жить стал, потому что меня лучше в целом свете нет! И не врал! Мне – не врал! Сукин сын...

Проخور со стоном закрыл лицо руками:

– Боже мой, как же это всё страшно... Бедная, несчастная... – слёзы потекли из его глаз.

Марина с удивлением посмотрела на него, подошла осторожно:

– Что ты, что ты, голубчик? Прости меня... Не хотела я огорчить тебя... Единственный ты, кого бы я огорчить не хотела... Но о ком же ты сокрушаешься так? Да взгляни же на меня! Кто я теперь! Дрянь! Зря мы с тобою встретились, зря привёз ты меня сюда. Пойду я лучше...

– Нет, – Проخور крепко схватил Марину за руку. – Ещё ничего не потеряно. Всё ещё можно поправить! По крайней мере, многое!

– Бог с тобой, Проخور Алексеич! – Марина расхохоталась. – Может, ты ещё и замуж позовёшь? Может, ты ещё и любишь меня?!

– Не позову, – ответил Проخور. – И... не люблю. Я был болен после твоего побега. Но, отболев раз, я уже не заболел вновь. Я люблю другую женщину, и скоро она станет моей женой. Но тебя я не оставлю и помогу тебе начать новую жизнь.

– Зачем?! – вскрикнула Марина. – Оставь меня! Не воображай меня страдальницей и невинной жертвой! Была б такой – в Волге бы утопилась! В монастырь бы ушла! А ведь я – не ушла! Кому ты помогать собрался, голубчик? Да знаешь ли ты, со сколькими я постель свою делила? С купцами, с писателями, с дворянами – кого только не было! А ты мне помогать собрался!

– Прекрати! Я сниму для тебя комнату. Сначала буду помогать тебе деньгами, пока мы не найдём тебе честного заработка. Ты справишься, я уверен в этом!

– Честного заработка? Проша, посмотри на меня внимательно. Неужели ты думаешь, что я ещё способна жить, как честная женщина?

– Способна! И я всё сделаю для этого! И не пытайся спорить со мной. Однажды ты уже решила всё сама – и что вышло? А теперь решу я! – решительно ответил Проخور.

– А ты изменился... На своего отца похож стал... Только добрее пока. И наивнее.

За окном рассвело. Проخور докурив очередную папиросу и сказал:

– Собирайся, Марина, и поедem.

– Куда?

– Увидишь.

Покинув Святые номера, Проخور остановил извозчика и велел ему ехать в Замоскворечье. Ранним утром улицы были пустынные, мороз щипал щёки, а в багряных лучах зимнего солнца торжественно горели купола многочисленных московских церквей. Как и накануне ночью, и Проخور, и Марина хранили молчание, переживая в душе каждый свою боль.

В последнее время он выходил на улицу с опаской, а шёл с оглядкой, ища мест людных, чтобы в них затеряться. Но они всё-таки выследили его. Зашли с двух сторон, и один тотчас незаметно из-под рукава упёр в бок острый нож.

– Пойдём-ка с нами, Пиковая Дама, тебя Кочегар зело как лицезреть желает! – прохрипел Фомка, дыша в лицо пленнику многодневным перегаром.

– Но я, позвольте, спешу... – неуверенно начал «Пиковая Дама».

– А уж мы-то как поспешаем! А уж Кочегар-то как спешит! Цельный месяц ждёт да ждёт тебя, всё-то спрашивает: куда это наша Пиковая Дама подевалася? С нашими деньгами?! Чего рожу воротишь, гнида? Знаешь, кошка, чьё мясо слопал!

– Да разве ж я обману? Я отдам... Клянусь чем угодно!

– А про то ты Кочегару и будешь трезвонить. А нам – без надобности. А уж Кочегар решит – придавить тебя да прикопать, али обождать, поколиче ты нам долг возвернёшь!

– Но я, в самом деле, спешу...

– А ты не спеши, родной, – усмехнулся Калач, шуря единственный глаз. – Куда нам спешить-то? На нары да на тот свет мы завсегда успеем! Ну, пошёл живее!

– Куда вы меня ведёте? – сдавленно спросил «Пиковая Дама».

– На мельницу... – буркнул Фомка.

В ближайшей подворотне их дожидалась коляска, запряжённая понурой кобылкой. Фомка и Калач сели по бокам от пленника, и коляска неспешно покатила вперёд, петляя по переулкам и дворам так, точно пассажиры опасались слезки и заматали следы.

«Мельница» располагалась в так называемой Волчьей долине, на Трубном бульваре, совсем недалеко от сияющего куполами Храма Христа Спасителя. Оставалось лишь удивляться, что столь мрачное место тесно соседствовало со святыней. Волчью долину порядочные обыватели старались обходить стороной, зная наверное, какого рода народ там обитает. Совсем недавно здесь из Москвы-реки выловлен был труп некоего присяжного поверенного. Несчастный был зарезан и сброшен в воду. Полиция прочесала окрестности, произвела облаву в притонах и на подворьях, но убийц так и не нашли. Всё знающие торговцы с Хитрова рынка толковали, что убитый имел большую слабость к игре, проиграл много, а долг не вернул, за что его и порешили...

«Мельницей» на жаргоне именовалась квартира, где собирались карточные шулеры. Туда же приходили азартные и состоятельные игроки, и начиналась игра, длящаяся иной раз несколько суток кряду. Играли ослеплённо, проигрывали целые состояния, благополучно оседавшие в карманах «гостеприимных» хозяев. И снова приходили, и уходили нищими... Известно было, что даже весьма знатный государственный муж оставил на «мельнице» весьма крупную сумму казённых денег, после чего вынужден был застрелиться. А некий граф Ш* после проигрыша даже обратился в полицию. Впрочем, обращение это особых последствий не имело, так как граф не имел понятия, где располагалась злополучная квартира. Дело в том, что желавших искутить судьбу на «мельницу» привозили на извозчике с завязанными глазами, предварительно долго возя по городу, чтобы создать иллюзию дальнего пути. Поэтому на вопрос сотрудника сыскальной полиции:

– Где же, граф, находится квартира, на которой вас обчистили? – растерянный Ш* пролепетал:

– Не знаю... Полагаю, где-то на окраине Москвы, ежели судить по тому, сколь долго мы добирались...

– Да зачем же вы поехали туда? Ведь, яснее дня Божьего, что там шулера! – недоумевал полицейский.

– Сам себе удивляюсь...

На этот вопрос не смог бы ответить ни один из обчищенных на «мельнице». Это была какая-то непостижимая загадка человеческой души: желание пощекотать нервы, надежда обмануть не шулера даже (мелко для широты нашей!), но через него больше – самого отца всякой лжи, поиграть с чёртом. Чёрт манил. К чёрту шли. Чёртом обольщались. С чёртом играли. Чёрту проигрывали.

Верховодил на «мельнице» некто Кочегар. Видом своим он более всего напоминал именно чёрта: чёрные кучерявые волосы, смуглое до черноты лицо, на котором сияли белки выпуклых глаз и на удивление белые ровные зубы. Кочегар был красив. Носил он алую рубаху и золотое кольцо в ухе, что добавляло ему схожести с цыганами. Сам Кочегар любил прихвастнуть, что родная мать его была цыганкой-ведьмой. И этому верилось...

У Кочегара была своя свита. В карты она не играла, а лишь верно служила своему хозяину. Свиту составляли четверо человек: Калач, Фомка, Бубен и Юла. Кривой Калач со страшным шрамом через всё лицо прозывался ещё двуликим Янусом, так как к тем, к кому благоволил, поворачивался не изуродованной половиной лица, отличавшейся изрядным благообразием, а тех, кого не любил, пугал страшной другой половиной. Будто бы два разных человека. Фомка, широкоплечий гигант, с огромными руками, более похожими на медвежьи лапы, был вторым в иерархии свиты. Если Калач был другом и даже советником Кочегара, то Фомке отводилось роль охранника, физической силы. Бубен же производил впечатление шута: тощий, с непропорционально крупной головой, он одним видом своим уже вызывал насмешку. Зубов у Бубена не было: выбили. Потому, говоря, он чудовищно шепелявил и брызгал слюной. Его можно было ударить, и это воспринималось им, как само собой разумеющееся. За то и прозвали его вначале Барабаном, а затем – Бубном. Юла был шустрым и сметливым подростком с весёлыми глазами и коротко остриженной головой.

– Меня прежде за волосы всё дворники таскали, а так я и обкорнался: выкусите теперь! – говорил он, поглаживая гладкий череп.

Это был паж хозяина «мельницы».

А ещё у хозяина была хозяйка... Чернобровая красавица, будто бы только что сошедшая со страниц Ветхого Завета. Она ходила плавно, как кошка, расчёсывая густые, вьющиеся рыжие волосы и поглядывая из-под ресниц зелёными кошачьими же глазами. Кочегар звал её «Дивушкой». Свита (в глаза) – Юдифью, за глаза – «кочегаровой мамашкой».

Сама «мельница» представляла собой просторную комнату с плотно зашторенными окнами. Посреди неё стоял стол, за которым играли и пили горькое вино. Сам хозяин пил мало, а гости, чем больше проигрывали, тем больше пили. На столе горели несколько свечей, освещавших игру, но оставлявших в потёмках остальную комнату. Кочегар садился во главе стола. Позади него располагался Калач, отбивая своим уродством желание игроков смотреть в сторону хозяина, улыбался насмешливо. Фомка становился в дверях и застывал, точно изваяние. О чём-то толковали, подчас тузя друг друга, Бубен и Юла. А на стоявшем у стены диване сидела хозяйка и поглаживала смуглой рукой лежавшую у неё на коленях чёрную, желтоглазую кошку.

Первое, что приходило на ум гостю «мельницы»: дантевское «Оставь надежду всяк сюда входящий». Это было самое настоящее царство Аида, преисподняя. А в ней – сам отец лжи со своей свитой. Это пугало, но и влекло, и завораживало, как всё тайное и... страшное.

Первый раз «Пиковая Дама» попал на «мельницу» за компанию со своим другом, которого Кочегар называл «Царевичем». «Царевич» был аристократом до мозга костей, от кончиков светлых волос до ногтей пальцев ног. Глядя на него, «Пиковая Дама» умирал от восхищения и зависти. Никто не имел такой царственной стати, такого гордого профиля, такой осанки, походки, никто не умел с таким вкусом носить дорогие костюмы! А этот белый бурнус, так идущий к нему! А личный экипаж... А ещё у «Царевича» была знатная фамилия. И деньги! Большие! Их хватало на скачки и театры, на женщин и на рестораны, на поездки за границу и игру... Счастливчик, баловень судьбы – всё дано ему единым правом рождения! Вокруг «Царе-

вича» всегда вились многочисленные приятели, раболепствующие перед ним, и он купался в этой своей (чем заслуженной?!) славе. Среди них был и «Пиковая Дама», страстно желавший стать похожим на своего кумира, которому поклонялся, стать равным ему, иметь его славу.

Оказавшись тогда на «мельнице» он похолодел от страха, а «Царевич», этот барский сынуля, ничуть не смутился. Он стоял напротив Кочегара, как бог перед сатаной, глядя спокойно и холодно своими необычайно светлыми, почти прозрачными глазами. Кочегар блеснул угольками глаз и пригласил гостей садиться. Игра началась. «Царевич» вина пить не стал. Он играл спокойно, уверенно и... выиграл! Это потрясло даже свиту Кочегара. Но тот лишь улыбнулся своей улыбкой – волчьим оскалом:

– С вами, ваше сиятельство, играть, как у нас заведено, негоже. Вы – равный. У вас все карты на руках, как и у меня. Я в вас ещё, как вошли вы, равного узнал. А с равными должно играть честно. Я с вами, как с царём, играл. И, как царю, проиграл. Но более сюда не приходите. Царям на «мельнице» делать нечего.

«Царевич» учтиво раскланялся со всеми присутствующими, Калач завязал ему глаза и увёл. Следом вывели и «Пиковую Даму».

«Пиковой Дамой» окрестил его, разумеется, Кочегар. На вопрос, почему, лукаво ухмыльнулся, тасуя карты:

– На короля ты, шурыга-мурыга, не тянешь, не взыщи. Ты, мил человек, на даму похожий. Лицо у тебя гладкое, тело белое. Прямо дева красная, а не мужик! А пиковая, потому как на червовую, тоже не пойдёшь. Червовая – страстная да не злая. Она от широты души гуляет. А у тебя душа чёрная, алчная! Дрянь-душа, одним словом. Потому ты самым нутром своим Пиковая Дама есть!

Вскоре после той игры «Царевич» отбыл за границу, а «Пиковая Дама» заболел навязчивой идеей вновь попасть на «мельницу» и повторить триумф своего кумира. Однажды, прямо у Хитрова рынка заметил он большеголового человека, сильно побитого, и узнал в нём одного из свиты Кочегара – Бубена.

– Что, Бубен, игра у вас на «мельнице» бывает ещё? – спросил его «Пиковая Дама».

– Как не бывать! А тебе что за дело? Али гроши в карманах перегрызлись?

– Не твоё дело! Как мне попасть на «мельницу»?

– Я таких дел решать полномочий не имею. Ты завтрава приходи, с Калачом потолкуй.

На другой день «Пиковая Дама» несколько часов бродил по Хитрову рынку, пока, наконец, к нему не подошёл Калач.

– Ступай за мной, – хрипло сказал он.

А дальше была прогулка по безлюдным улицам, тёмный закоулок, извозчик на старенькой лошадёнке (тоже, видать, из свиты), чёрная повязка на глаза, долгая дорога, тёмная комната и встречный оскал Кочегара.

Денег у «Пиковой Дамы» было немного, и он быстро проиграл их, но остановиться уже не мог. Вскоре он выписал пачку векселей на изрядную сумму и лишь потом спохватился, в какую страшную кабалу загнал себя. В ужасе поглядев на усмехающегося Кочегара и изуродованный профиль Калача, неудачливый игрок произнёс, задыхаясь:

– Но ведь вы передёргивали! Вы шулер!

Кочегар и вся его свита расхохотались.

– Вот шурыга-мурыга! А ты разве ж не ведал, куда идёшь? Зачем шёл? Зачем играл?

– Но мой друг... С ним вы честно играли!

– А ты себя с ним не равняй! Он уж тем, что во всём блеске сюда явился, глаз не отводя и страха не ведая, честь нам оказал. Он – царь! А ты – лакуза пресмыкающаяся! Проваливай отсюда и ищи деньги, чтоб долг мне возратить!

– Не стану! Векселя вы всё равно к взысканию не предъявите, потому как с законом сами не дружите!

– Догадливый, шурыга-мурыга, а Калач? Догадливый!

Калач наклонился к «Пиковой Даме» и сказал:

– Правильно, лакуза, векселя мы твои нигде не предъявим, чтоб тебя в долговую яму упекли. Мы, коль не уплатишь, тебя сами в яму отправим. В такую, из которой не вылезят. Глубокую выкопаем, чтоб наверняка. Присяжного поверенного-то помнишь, что в речке утонул, а прежде ножичком подавился? Тоже, вот, платить не хотел... Сволочь. Простуда-то она штука коварная. Может легко обойтись, а может к воспалению лёгких привести, да и со святыми упокой!

Как везли его с «мельницы» на рассвете, как высаживали в тёмном закоулке, «Пиковая Дама» помнил смутно. Придя в себя, он решил попытаться скрыться: занял денег у приятеля, уехал в другой город, где пробыл целых три недели, а когда деньги закончились, осторожно вернулся в Москву, где стал за версту обходить все злчные места, у которых был риск столкнуться со свитой Кочегара. Но она всё-таки отыскала его. И вновь: повязка, долгая дорога, тёмная комната и чёрный Кочегар.

– А, лакуза простуженная! – оскалился он, играя картами. – Наконец-то! Зело не хватает колоде нашей пиковой дамы... Что, гнида, смыться хотел? Думал, после трёх недель отсидки в чужом городе мы не същем тебя? Думал, такой дурак Кочегар? Я Бутырскую Академию с отличием закончил! И ребята мои – сплошь глазастые². Их на мякине не проведёшь! Так что ж, шурыга-мурыга, где деньги-то мои?

«Пиковая Дама» хлопнулся на колени, размазывая по лицу слёзы:

– Ну, где, где же я возьму такую сумму?! Пощадите, не убивайте! Да за что же...

– Заткнись! – рявкнул Кочегар, хрустнув пальцами. – Тьфу! Не человек, а гниль... И зачем это Царевич тебя коленом-то под зад не прогнал? Палками-то? Уж я бы прогнал! Встань, тварь, а то не удержишь да и прибью тебя.

«Пиковая Дама» поднялся, дрожа всем телом. Кочегар поглядел на него с неприкрытым презрением и прошипел:

– Даю тебе три месяца, чтобы со мною рассчитаться. А, если не успеешь или попытаешься обмануть, так гляди: укокаю, как червяка, раздавлю. Понял, шурыга-мурыга?

– Понял... Спасибо... Я постараюсь... Я... – начал «Пиковая Дама», истерично заикаясь.

– Калач, Фомка уберите отсюда это ничтожество! – скомандовал Кочегар.

Калач завязал «Пиковой Даме» глаза, Фомка сгрёб его в охапку и унёс с «мельницы», зло бранясь:

– Был бы я на месте Кочегара, так велел бы тебя отделать, как нашего Бубена намедни в бане! Слышь, Калач, может, всыпать ему?

– Кочегар приказывал?

– Нет...

– Значит, не надо. Ты, пожалуй, ещё и впрямь укокаешь его. Силушки-то в тебе, Фомка, немеренно. А этому, как моя маруха скажет, полумужчинке – много ли надо? Дашь ему шелл-бана, он и окочурится. Свези его, откель доставили, да возвращайся. А я ноне с вами не поеду: дельце одно есть, поважнее.

– Добро, Калач!

«Самому, что ли, удавиться? – думал «Пиковая Дама» на обратном пути. – Самому всё не так жутко... Жаль, пистолета у меня нет. Из пистолета всего лучше кончать... А, впрочем, на тот свет я ещё, в самом деле, успею... Три месяца есть ещё: может, что и помаклячу...»

Солнце разливалось по небу ясной улыбкой, в лучах которой сияли купола Новодевичьего монастыря, красно-белые стены которого дремали под лазурным покровом небес.

Пётр Андреевич Вигель неспешно прогуливался вдоль пруда, бросая крошки хлеба скользящим по его глади уткам. Это был молодой человек весьма привлекательной наружности: высокий, широкоплечий, стройный, со светлыми волосами, причёсанными «по-учённому»³, и большими синими глазами. Губы его были несколько тонки и всегда готовы расплыться в ясной улыбке, в которой сквозила вся радость, всё счастье и непосредственность молодости. Даже новый, безукоризненно сидевший на нём мундир, не придавал ему строгости, тем более, суровости, отличающей сотрудников полицейского ведомства.

Из-за монастырских стен раздался колокольный звон, наполняющий душу чем-то недосыгаемо горним. Вигель перекрестился и стал ожидающе смотреть на ворота монастыря. Из них выходило много празднично одетого люда. Одной из последних вышла хрупкая девушка в креповом платье и платке, покрывающим её хорошенькую головку на безупречно стройной шейке. Девушка была ещё совсем юной, но в серых, глубоких глазах её уже таилась неуловимая печаль, а улыбка всегда оставалась чуть-чуть грустной. Её нельзя было назвать красавицей, но какая-то неизъяснимая очаровательность, красота внутренняя влекла к ней.

Девушку сопровождали две девочки, весело смеющиеся и носившиеся друг за другом.

Едва завидев её, Вигель пошёл ей навстречу и, поклонившись, произнёс сияюще:

– Здравствуйте, дорогая Ольга Романовна! Я ждал вас! Я хотел видеть вас! Я скучал по вам...

– Полноте, Пётр Андреевич, ведь мы с вами каждый день почитай видимся! Вот лишь давеча вы на лестнице остановили меня, и мы с вами без малого четверть часа разговаривали, – чуть улыбнулась Ольга.

– Всего-навсего! Если б можно было говорить часами!

– Ах, я бы тогда надоела вам глупыми своими разговорами.

– Как можно! Вы совершенство, Ольга Романовна! Кстати, поздравьте меня: отныне я состою на службе! Вот, и мундир пошил, как видите!

– Экий вы важнючка! – ласково сказала Ольга. – Мундир вам идёт, очень идёт. И какая же ваша должность?

– Помощник следователя, Ольга Романовна. О, вы не можете представить, как мне повезло! Я буду помощником самого Николая Степановича Немировского! – в голосе Вигеля зазвучал восторг.

– Немировский? Простите меня великодушно, но я не знаю, кто он.

– Ольга Романовна, это великий сыщик! Он столько громких дел распутал за свою жизнь, сколько я книг не прочёл... Статский советник, редкостный умница, гроза преступного мира! Сквозь огонь видит! Я и мечтать не мог, чтобы начать службу под его шефством! Это невероятная удача! Я нынче счастливейший из людей!

– Я очень рада за вас, голубчик Пётр Андреевич, что вы так счастливы!

– А вы можете сделать меня ещё счастливее, Ольга Романовна.

– Вот как? Каким же образом?

– Не откажите несколько прогуляться со мною!

– Ах, это не совсем удобно...

– Ольга Романовна, да ведь у меня праздник сегодня, а, кроме вас, мне не с кем разделить его! Мы уж год знакомы с вами, дружны, как брат и сестра, и больше даже...

– Не надо!

– Хорошо, не буду. Но прошу вас, не отказывайте мне! Нынче и погода, как нарочно, чудная. Для чего же вам в четырёх стенах сидеть? Хотите, я пред вами на колени встану?

Ольга посмотрела на устремлённые на неё сияющие синие глаза и махнула рукой:

– Что с вами поделаешь, Пётр Андреевич! Гулять, так гулять! Погодите, отправлю лишь сестёр домой. Надя, Лиза! – окликнула она девочек.

Те послушно подбежали к старшей сестре и, малым реверансом поприветствовав Вигеля, приготовились слушать указания.

– Бегите домой. Скажете бабушке, что я решила немного пройтись и буду к обеду, – сказала им Ольга.

– Не опаздывай, Олинька, – ответила Надя. – Ты не забыла, что к нам Сергей Сергеевич будет?

– Конечно, я помню.

– Как это хорошо! Сергей Сергеевич добрый! Он, наверное, нам конфет привезёт, – мечтательно произнесла Лиза.

– Нельзя быть такой корыстной, Лиза, – вздохнула Ольга.

– Но он всегда привозит! Он ведь добрый, правда?

– Правда! Ну, ступайте! И будьте осторожны!

Надя и Лиза убежали. Ольга обернулась к Вигелю и заметила, что лицо его омрачилось.

– Опять Сергей Сергеевич? – вымолвил он.

– А что Сергей Сергеевич? Он хоть не бездушник какой... Жалеет нас. И ведь единственный друг нашей семьи.

– Ольга Романовна! Ну, кого вы обмануть сейчас хотите? Меня ли? Или себя? Ведь вы же знаете, для чего он ходит к вам...

– Знаю, Пётр Андреевич. Так и что же с этого? Если бы не он, то как бы мы жили? Бабушка хворающая совсем стала, а сёстры – совсем ещё дети. Сироты... Неужели думаете вы, что по передним ходить сладко? У дальних родственников да старых отцовых друзей, кои забыли его давным-давно, подачки просить, на обеды напрашиваться, чтобы дети сыты были? Мы с бабушкой так и ходили, пока она ходить ещё могла. А что просить у них? Всё, что у камня слёз. Не допросишься... А унижения-то сколько!

– Нож в сердце вы мне, Ольга Романовна, вонзаете. Но послушайте! Я ведь служу теперь! Я вскоре твёрдо на ноги встану и тогда смогу помочь и вам, и вашей семье. А пока всё, чем обладаю я, ваше! Сердце моё – ваше! Ведь у меня никого нет ближе вас! Я ради вас на всё пойду, Ольга Романовна!

– Перестаньте, Пётр Андреевич! – Ольга сорвала с головы платок и глубоко вздохнула. – Я не могу теперь о себе думать, вы знаете это. Я матушке, когда отходила она, обещала, что всё сделаю, чтобы они благополучны были. Пусть уж из трёх сестёр одна несчастною будет, чем всем страдать. Я клятву дала, понимаете ли? Бог миловал, не пришлось мне ни воровать, ни постыдным чем заниматься, так неужто гневить его стану? Положение-то наше беженское, хуже беженского... Грош с копейкою не сталкивается. Сестёр бы учить след, а как? У нас иной день хлеба-то нет... А Сергей Сергеевич единственный заступник наш...

– И, что же, замуж пойдёте за него? – тихо спросил Вигель.

– Не спрашивайте, Пётр Андреевич! Сами вы знаете, что не люб он мне. Знаете, и кто люб...

Вигель порывисто схватил Ольгу за руку:

– Я вас никому ни отдам...

– Оставим это, Пётр Андреевич. Ведь мы с вами гулять собирались... Пойдёмте же!

Вигель взял Ольгу под руку, и они медленно пошли по дороге.

Пётр Андреевич Вигель происходил из остзейских немцев. Род его был дворянский, хотя не очень известный и вконец обедневший. Его отец, в своё время, перебрался в Москву, где женился на дочери отставного полковника Ивченко, и стал работать врачом в одной из больниц, ведя при этом частную практику. Матери своей Пётр не помнил, так как она скончалась, когда ему не было ещё и года. Отец же был суровым, педантичным немцем, человеком весьма жёстким, хотя очень хорошим врачом. Других родственников не было. То есть были где-то в Литве, но с ними не поддерживалось никаких сношений. С ранних лет Пётр пристрастился

к чтению и свои карманные деньги тратил, в основном, в книжных рядах, вызволяя очередные творения столь дорогих его сердцу писателей и поэтов. Лишь одного места избегал он – Никольского рынка, где торговали низкопробной литературой, авторов которой Пётр презрительно называл «маралами».

Жили Вигели более чем скромно. Отец отказывал себе во всём, чтобы дать сыну надлежащее образование, вывести его тем самым в люди. Однажды в больнице случилась кража, в которой обвинили близкого друга Вигеля. Тогда Пётр устроил своё расследование и нашёл настоящего вора и саму покражу. С той поры юноша возымел мечту сделаться сыщиком. Отец не очень одобрял этого желания, но, в конце концов, махнул рукой: по крайней мере, делом сын заниматься будет, по крайней мере, не поэт какой-нибудь – бумагомаратель. Поэтов старший Вигель отчего-то особенно не жаловал.

После смерти отца Пётр понял, что оплачивать квартиру, которую тот нанимал, он не в состоянии, и начал подыскивать что-то более дешёвое.

Очень скоро он нашёл маленькую, но приличную квартирку в доме, расположенном недалеко от Новодевичьего монастыря. Денег старик-хозяин брал со своих жильцов немного, и Вигель решил, то лучшего пристанища ему не найти.

Этажом выше проживала семья Зайцевых. Хозяин рассказывал, что господин Зайцев, «из благородных-с», погиб в результате какого-то несчастного случая, а жена его годом позже умерла от чахотки, оставив троих дочерей, две из которых были ещё совсем крохами. Приглядывать за сиротами стала старая бабка, Анна Саввична, а за квартиру будто бы уплачивал некий друг покойного Зайцева.

Со старшей сестрою, Ольгой Романовной, Вигель в первый раз столкнулся на лестнице и в тот же миг понял, что поэты и писатели не лгали, говоря о любви с первого взгляда. Кроткая, хрупкая, чистая – она показалась ему похожей на ангела. Между ними как-то сразу возникла глубокая симпатия и доверительные отношения. Вигель приносил Ольге книги из своей библиотеки, которые она, по бедности, купить не могла, а потом они часами обсуждали прочитанное, и это были самые счастливые мгновения для обоих. Когда этой зимой Ольга захворала, то Пётр, подчас сам оставаясь голодным, покупал ей фрукты и приносил необходимые лекарства (с последними трудностей не было, благодаря некогда спасённому доктору).

Но было огромное препятствие у этой любви. Его скудное материальное положение и её крайняя нищета, помноженная на заботу о младших сёстрах и вконец сдавшей бабушке. А ещё был – благодетель. Сергей Сергеевич Тягаев. Пожилой, хотя ещё интересный мужчина, барин. Барин всею статью, всяким движением, существом своим. Человек состоятельный, он был известен в Москве, как меценат, жертвовавший деньги на монастыри, богадельни, искусство. Тягаев в молодости был близким другом покойного Зайцева и его жены, часто бывал в доме и Олиньку знал с пелёнок. Потом несколько лет жил он в Петербурге, а, когда вернулся, нашёл осиротевшее семейство своего друга в непроходимой нищете. Ольга пыталась было давать уроки, но после того, как в одном доме, куда её пригласили, хозяин попытался ею овладеть, девушка вынуждена была от этого скудного заработка отказаться. Сергей Сергеевич явился настоящим спасителем. Он снял для Зайцевых чистую и приличную квартиру, сам стал находить дома, где Ольга могла бы без опаски давать детям уроки музыки, к коей имела большой талант. В то же время Тягаев делал всё, чтобы его помощь не выглядела унижительным подаянием, зная, как таковое уязвляет. В последнее время Сергей Сергеевич бывал у Зайцевых часто, и однажды Анна Саввична проговорила Вигелю, что надеется, что благодетель сделает предложение её Олиньке. Одна мысль об этом повергала Петра в отчаяние...

Вигель часто сопровождал Ольгу во время прогулок. Особенно любили они Нескучный сад и Воробьёвы горы. В этот день отправились в Нескучный.

– Ольга Романовна, – сказал Вигель, – позвольте мне ваш портрет теперь нарисовать. Вы необыкновенная нынче, сияющая!

– Бог с вами, Пётр Андреевич, с чего бы мне сиять? Разве оттого, что причастилась, и от того на душе у меня легче стало.

– Вы ангел, Ольга Романовна, – серьёзно произнёс Пётр. – Так позвольте?

– Сделайте одолжение, – пожала плечами Ольга, опускаясь на край скамьи.

Вигель опустил ся неподалёку и, извлекши блокнот и карандаш, принялся за дело.

– Я теперь лишь набросок сделаю, а после уж настоящий портрет, – сказал он.

– Сколько же талантов у вас, милый Пётр Андреевич!

– Перефразируя господина Островского, талант – хорошо, а счастье – лучше, – улыбнулся

Вигель.

– Ах, да, чудно, что вы мне напомнили. Ведь я хотела поблагодарить вас за последние номера «Русского Вестника», что вы мне принесли. Я как раз читать окончила.

– Там, кажется, были последние части сочинения графа Толстого «Анна Каренина»?

– Да-да. Только я не читала сразу, как выходили, первые. Я дождалась окончания, а затем лишь прочла всё разом.

– И каково же ваше мнение, Ольга Романовна?

– Сказать по правде, это сочинение мне не очень понравилось, – сказала Ольга.

– Неужели? – поразился Пётр Андреевич. – Да ведь все нахваливают его!

– Может быть, я недостаточно понимаю, но мне не близок образ самой Анны. Я не понимаю, как женщина может оставить родных детей! Это же, это же... Этого ни одна мать не делает! А, если не мать, то разве же женщина? Нет, женщина – это, прежде всего, мать. А лишь после остальное. Нет, такой женщины я понять не могу.

– Вам не жаль её?

– Жаль. Как жаль всякую заблудшую душу. Но лишь сожаление и может вызывать она. И, наконец, мне непонятно, как женщина может оставить мужа. Пусть и нелюбимого. Вы помните Татьяну, Пётр Андреевич? «Но я другому отдана и буду век ему верна!» Вот, образец женщины! Вот, героиня, которая вызывает уважение и любовь! Самопожертвование, честь, семья, верность... Верность – это же главное качество женщины...

– А вы знаете, Ольга Романовна, вы очень похожи на Татьяну. Столь чисты и искренни... – заметил Вигель, который при фразе «но я другому отдана» ощутил себя на месте отвергаемого Онегина. Неужели же также Ольга отвергнет его самого ради благодетеля Сергея Сергеевича?..

– Когда мама была жива, она любила читать вслух «Евгения Онегина». И образ Татьяны с тех пор впитан мной. А Карениной я принять не могу... Она... эгоистка... А эгоизм – по моему, самое скверное качество в человеке. Тем более, в женщине, суть которой любовь. Не страсть, а любовь. В самом широком смысле. Милосердие... Вы не согласны со мною?

– О женской сути или о романе графа Толстого?

– О романе.

– Признаюсь, я менее критичен, чем вы, милая Ольга Романовна, но вы правы, потому что говорите, как ангел, а ангел ошибаться не может, – Вигель захлопнул блокнот.

– Уже закончили?

– Да! Благодарю вас, Ольга Романовна!

– Но покажите же!

– Нет, Ольга Романовна! Вы увидите уже готовый портрет! Потерпите!

– Вредный вы человек! – рассмеялась Ольга Романовна. – Однако же, мне нужно возвращаться, иначе бабушка рассердится. Уже скоро обед.

Вигель вздохнул:

– Отчего всё хорошее оканчивается так обидно быстро? Не волнуйтесь, вы не опоздаете: я самого быстрого извозчика возьму, и он домчит нас, как ветер...

– Спасибо вам, Пётр Андреевич, – тихо сказала Ольга. – И за прогулку, и... за всё...

Вигель поднёс руку Ольги к губам и долго не отпускал её, глядя в её серые глаза под чуть приподнятыми, точно удивлёнными, дугами бровей...

Целый месяц Прохор Голенищев пытался вернуть Марину к честной жизни. Он нашёл ей работу швеи, но видел, что работа эта не по нутру строптивой красавице.

– Пальцы исколола, денег кот наплакал! – жаловалась она. – В «Саратове» за один выход...

– Молчи! – кричал Прохор, но всё больше чувствовал, что все его труды бесполезны...

Окончив свои дела и оставив Марине денег, он отбыл в родные края, где встретили его насторожённо, подозрительно, будто осуждали за что-то. Эта загадка разрешилась при встрече с Варей, которая спросила без обиняков:

– Слышала я, Проша, будто ты на Москве с другою слюбился... Верно ли говорят люди?

– Врут, моя лебёдушка.

– Сказывали, будто квартиру нанял для неё и сам к ней наезжаешь... – голос Варвары зазвенел. – Проша, Христом-Богом прошу, не лги мне!

– Не буду лгать, – сказал Прохор твёрдо. – Только и ты выслушай меня и поверь так, как если бы я на исповеди говорил.

– Говори!

– Квартира в Москве, в самом деле, есть. Вернее комната. Снята она для женщины, в судьбе которой я принимаю посильное участие. Когда-то она жила в нашем городе. Мы были дружны с детства...

– И ты... любил её? Любил?

– Любил, Варя. Больше жизни любил, не скрываю. Но любовь эта в прошлом.

– Первая любовь – самая крепкая. Она не проходит!

– Варя, ведь ты обещала верить мне! Я говорю тебе чистую правду, как перед Богом. Этой женщины я больше не люблю.

– Тогда для чего снял ей квартиру и бывал у неё?

– Я встретил её в Москве совершенно случайно. Она находилась в положении отчаянном, и мне сделалось жаль её, как жаль было бы любого близкого некогда человека, попавшего в беду. Она низко пала, потому что люди обошлись с нею очень жестоко. Я не могу уже даже любить её, но не могу и не жалеть! Я захотел помочь ей выбраться из той ужасной ямы, в которую она попала. Неужели за это достоин я осуждения? Разве только больше чести мне было бы в том, что я, увидев некогда дорогого человека, непростительно падшего, посмеялся бы над ним, презрел да отвернулся? Я снял ей комнату, помог деньгами, нашёл честную работу. Вот и всё!

– А она, Проша, любила ли тебя?

– Не знаю, Варя.

– А... был ли ты с нею? Тогда, прежде? – Варвара покраснела и отвела взор.

– Это нескромный вопрос, Варя. Но, если тебе это непременно надо знать, то был. Станешь ли осуждать меня за то? Это было ещё за два года до нашего знакомства.

– А в Москве? В Москве, когда навещал её, ты был с нею?

– Нет, Варя! Более того, и в мыслях своих не имел того. Ни делом, ни помыслом я не согрешил пред тобою. И на том крест целую! – Прохор извлёк из-под рубахи крест, приложил к нему и перекрестился на стоящую в углу икону. – Веришь ли теперь мне?

– Верю, – улыбнулась Варя, обнимая его и прильнув щекою к его груди.

– Одну тебя люблю, никого другого нет и не будет в моём сердце, – прошептал Прохор, целуя невесту.

Через некоторое время он вновь отправился по делам в Москву, где нашёл комнату Марины пустой. Старуха-хозяйка только усмехнулась:

– Ходил к ней какой-то хлыщ. В очках да с бородкою. И, кажется, из состоятельных. Ходил-ходил, а потом и увёз вашу мадаму. Куда уж – не имею понятия. Экая вертихвостка! Чуть хозяин за порог, так она уж и хвост на бок! Вот, девки-то пошли! Ни стыда, ни совести!

К своему удивлению, Прохор почувствовал, что это известие не огорчило его. Более того, вызвало облегчение. Теперь ему хотелось лишь одного: больше никогда ничего не слышать о Марине и не видеть её.

В считанные дни он окончил дела, вернул долг Докукину, отпиравшемуся, но деньги всё-таки взявшему, так как лишь накануне проиграл крупную сумму на скачках, и с лёгким сердцем вернулся в родные Кимры, где вскорости обвенчался с Варварой...

Глава

I

ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

– Эк, горой вас раздуй! Здесь что, место преступления или лавка мясника?! – зычно рявкнул сотрудник сыскной полиции Василий Романенко, едва переступив порог квартиры убитого ростовщика и тотчас угодив сапогом в лужу крови.

Квартира и впрямь представляла собой зрелище пугающее. Посреди просторной комнаты лежал ещё не старый мужчина, элегантно одетый, с тремя пулевыми ранами в груди. Судя по многочисленным лужам крови, оставленным на полу, убитый умер не сразу, а пытался убежать от убийцы, который, по-видимому, напал на него в соседнем помещении. Заглянув туда, Романенко увидел накрытый на двоих стол с опрокинутым и разбитым вдребезги графином (судя по запаху, в нём была водка) и нетронутой закуской, несколько опрокинутых стульев. В стене обнаружилась небольшая ниша, дверца которой была распахнута. Видимо, это был тайник. На ручке двери, разделявшей помещения, виднелся отчётливый отпечаток окровавленной руки. Очевидно, после первого выстрела несчастный ещё пытался спастись, захлопнуть дверь и не выпустить убийцу, но это ему не удалось. Недалеко от трупа на полу сидела молодая очень красивая женщина с отсутствующим взглядом широко распахнутых глаз, сжимавшая в руках револьвер.

Чтобы вполне оценить картину произошедшего Романенко понадобилось несколько минут, после чего он подозвал к себе квартального надзирателя:

– Докладывай, Кулебяка.

– Да что докладывать, Василь Васильич? Сами, буде, видите, какое тут смертоубийство, – вздохнул Кулебяка, отирая платком сияющую лысину.

– Да уж вижу! – зло бросил Романенко. – Час от часу нелегче! Мало мне Рахманова, так ещё это теперь... Черти бы их драли всех!

– Никак начальство опять лютует, Василь Васильич?

– И его бы тоже черти драли... Вынь да положь им Рахманова! Что я, рожу его, что ли? Он, каторжанин, с пересылки дёру дал, а из меня теперь жилы тянут, будто бы я его упустил... Да ты что ж мне зубы-то заговариваешь? Ты мне давай о нонешнем пойд. Кто труп нашёл? Какие свидетели есть? Слышал ли кто выстрелы? Это кто? – Романенко кивнул на неподвижную женщину.

– Это, буде, сожительница покойного Михаила Осипыча Лавровича. Как зовут, неизвестно покуда, так как она, подлянка, молчит. Но, склоняюсь к мнению, что она его и спровадила на тот свет. Мы её так и нашли: с пистолетом в руках. Свидетелей покуда, буде, лишь двое. Дворник тутошный Клим Карпыч да соседка Варвара Антиповна. Желаете сами беседу с ними иметь?

– Да уж, пожалуй, – ответил Романенко, снимая с себя мешковатый сак. – Я, братец, привык сам всё выслушивать и осматривать, а то беспокойно мне. Где с ними потолковать-то можно?

– Так, я полагаю, у Варвары Антиповны. Буде она этажом выше проживает. И дворник там теперь. Я нарочно распорядился, чтобы не искать потом. И доктора пришлю к вам. Он, буде, сюда ещё прежде нас прибыл, так что кое-что рассказать может.

– Так уж пойду возьму их в разделку, – решил Романенко.

– Разрешите и мне с вами, – подал голос молодой человек с ярко синими глазами, который всё это время задумчиво бродил по квартире, пристально рассматривая каждый угол, каждую деталь.

– А с кем имею честь? – полюбопытствовал Василь Васильич.

– Помощник следователя Немировского, титулярный советник Пётр Андреевич Вигель.

– Рад знакомству, – Романенко протянул Вигелю руку. – Василь Васильич Романенко.
– Я о вас слышал, – улыбнулся Вигель, пожимая руку Романенко. – Так что же, не будете возражать против моего присутствия?

– Да с какой же стати? Ваше полное право, – Василь Васильич направился к двери, приговаривая: – Цоп-топ по болоту шёл поп на охоту...

Вигель последовал за ним.

Дверь в квартиру Варвары Антиповны оказалась открытой, и изнутри доносились приглушённые голоса. Хозяйка вместе с дворником пребывали на кухне, сидя за наскоро накрытым столом.

– Хороша у вас наливочка, Варвара Антиповна! – крикнул Клим Карпыч, ставя опорожнённую рюмку на стол.

– Муж-покойник ещё вкуснее готовить умен. Мастер был, царствие ему небесное!

Романенко вошёл в кухню, отбросив со лба свои тёмные нестриженные давно волосы, имеющие вид причёски, называемой «а ля мужик».

– Доброго здоровья всем, – сказал он.

– Здорово, ваше благородие! – отозвался дворник.

– И тебе, батюшка, доброго, – ответила хозяйка. – Присаживайтесь. Не хотите ли угоститься?

– Я на службе, благодарю, – Романенко сел за стол.

Следом за ним в кухню вошёл Вигель и примостился в углу, с интересом всматриваясь в лица присутствующих. Дворник покосился на него, затем – на Василь Васильича, и сказал:

– Вот, мы тут соседку помянуть собрались...

– Не рановато ли поминать-то начал, борода? – нахмурился Романенко. – Ведь мне тебя, чёрта, ещё поспросить надо, а ты уж глазом стреляешь.

– Господь с вами, ваше благородие! Я ж едва пригубил! Да мне ж, чтобы уж не соображать ничего, надо цельный этот самый графин без закуси употребить, и того мало будет! Так что вы свои вопросы задавайте. Я отвечать готовый.

– Ну, для начала расскажите-ка мне оба всё, что знаете об убиенном нынче Лавровиче.

– Да что рассказывать, ваше благородие? Близко мы его не знали. В Москву приехал он с год тому назад. Обосновался в нашем доме да ссудную лавку открыл. Сами понимаете, что люди разные к нему шатались. Правда, приходили они не через парадный подъезд, чтобы лишних неудобств не делать, а через чёрный ход. Были и господа солидные, и студенты... Некоторые и частенько заглядывали...

– Михаил Осипыч, царствие ему небесное, человек неплохой был, – продолжила Варвара Антиповна. – У него обычно тихо было. Не пил, не буйствовал, всегда такой вежливый да обходительный был. Даже и не подумаешь, что таким делом занимается... Правда, слабость была у него... Даже не знаю, как сказать...

– Что ты, мать, зарделась-то? Дело-то обычное! До баб был падох покойник, ваше благородие! Весьма даже охоч! Месяц спустя как он приехал да обосновался стала к нему краля ходить. Вся такая пышная да размалёванная! Известного, в общем, сорта краля! Пробы ставить негде. У ней даже голос хриплый такой был...

– А смех такой нахальный! Аж у меня слышать было! И ругалась непотребно! Сам-то покойник не позволял себе, а вот, она... Прямо подлянка, прости господи! Стыд один!

– Зато, по всему видать, горяча была, аки конь необъезженный. Скусная.

– Жила она здесь?

– Да нет, батюшка. Господь миловал. Но бывала часто. А иногда и другие бывали...

– А потом куда-то испарилась. А он откель-то новую кралю приволок. Вы её видали, должно. Месяца три назад привёз и поселил у себя.

– Как звать её, не знаете?

– Не знаем, батюшка. Он её всё какими-то ласкательными прозвищами называл, а по имени – никогда. Даже чудно. А, как она появилась, так других он приводить сюда перестал.

– Однажды та шушундра, прежняя-то его приходила, так он её даже в дом не пустил.

– А что она хотела?

– По-моему, денег, батюшка. Ух, как она на него серчала! А он ей так спокойно ответил: «Ты свой отступной уж получила! Больше ни алтына не получишь. А ещё раз заявишься, так я уж устрою, чтобы и положенной уже суммы ты не увидела!» С тем она и ушла, зараза.

– Только, ваше благородие, горбатого, видно, могила исправит. Стал Михал Осипыч из дому часто в последнюю пору отлучаться. Раз был я у родственников. Недели две назад, кажись... Шёл я мимо одной ресторации. Глядь: а из неё выходит наш Михал Осипыч с какой-то барышней, совсем-совсем юной. Извозчика остановил, посадил её, сам следом сел, приобрёл её и велел везти их в Газетный переулок. По всему видать, ваше благородие, что в «Кавказ» он свою кралю новую повёз, в номера тамошние.

– Вот, бесстыдник-то! – покачала головой Варвара Антиповна.

– А нынешняя-то его, видать, про то узнала.

– И какие тут скандалы начались! Батюшки святы! Прежде она такая тихая была! А тут криком кричала на него!

– Что кричала-то?

– Ой, батюшка, глуховата я. Плохо расслышала. Но угрожала! Точно помню. Убить грозились! Как раз намеренно это было.

– У Михайлы Осипыча револьверт был. Так она им завладела. Я вечер в окно заглядываю и вижу такую картину: стоит он посреде комнаты, а она на диване сидит и револьверт на него направляет. То на него наведёт, то к виску своему приставит. Он ей крикнул что-то. Крикнул и убежал. Из дома выбежал, я его спрашиваю: «Михал Осипыч, что ж вы мер не предпримите? А ну, как она, подлянка, в вас пульнёт?» А он мне: «Нет. Никогда она в меня не выстрелит. Это она пугает только». А вечером, когда он вернулся, так она ему в ноги кинулась, ноги обхватила, рыдает! Мол, прости дуру! На том и примирились... Да только, вот, ненадолго хватило...

– Эх, неужто она его? – вздохнула Варвара Антиповна. – Даже не верится. Такая тихая, красивая... Жалко её.

– Что сегодня случилось, можете рассказать что-нибудь?

– С утра я, батюшка, слышала, как они ругались. Он кричал, чтобы она револьверт вернула, а она не отдавала. Потом всё тихо было. А потом я к обедне ушла. Я всякий день в этот час к обедне хожу. Пришла, а тут такое... – старушка всхлипнула и поправила выбившуюся из-под чепца прядь.

– А я вечер употребил крепко... – признался дворник. – У приятеля моего именины были. А я, когда с перепоею, так сплю по полдня, как убитый, совершенно бесчувственный.

– Хорош гусь!

– Грешен, ваше благородие!

– И что ж, неужели выстрелов не слышал?

– Да помстилось во сне... Так, говорю ж, пьян был. Думал, снится... А очнулся я уж, когда вопли услышал. Она так, бедняга, кричала, как зарезанная...

– Сразу после выстрелов?

– Да откуда ж я помнить могу? – пожал плечами дворник. – Услышал я её вопли, кинулся к Михал Осипычу в квартиру. А там он лежит... А она над ним стоит: руки окровавленные, в одной пистолет держит, в лице ни кровинке, вопит. Велела врача звать. А доктор-то у нас недалече живёт: я к нему, а затем к квартальному надзирателю... Вот и всё.

– А вы были в квартире после убийства? – подал голос Вигель.

– Были, батюшка, – кивнула Варвара Антиповна.

– И, что же? Не пропало ли что?

– Да кто ж его знает, ваше благородие! – махнул рукой дворник. – Я у покойника в приятелях не хаживал. Шут его знает, что у него там было...

– Я не совсем уверена... – Варвара Антиповна помялась. – У Михаила Осиповича часы были. Бригет. Золотые. Известной марки. С брильянтом даже. Очень дорогие. Он иногда хвастал ими: уж очень ими покойник дорожил и гордился. Я, правда, на него, убитого, мельком лишь глянула... Страшно ведь! Он там лежит, в крови весь... Но, по-моему, часов не было...

– Так он мог их в другом костюме оставить, – пожал плечами Романенко.

– Разумеется... Я так... На всякий случай.

– Ладно, проверим, что там с часами. Впрочем, картина, по первому абцугу, весьма явственной представляется: убийство из ревности. Банальный случай. Надо только установить личность этой дамы... А что, больше никто в доме не живёт?

– Нет, батюшка. Есть ещё одна квартира, на третьем этаже. Но она уж полгода пустует. А прежде там жил какой-то чиновник с семейством. А потом переехал... Теперь, вот, одна осталась! – Варвара Антиповна утёрла глаза платком.

– Теперь можно помянуть? – спросил Клим Карпыч Романенко.

– Поминай уж! – махнул рукой Василь Васильич, поднимаясь из-за стола. – Пойдёмте с доктором потолкуем, – добавил он, обращаясь к Вигелю.

В дверях квартиры убитого сыщики столкнулись с носилками, на коих выносили труп. Вигель приподнял покрывавшую покойника простыню и со вздохом опустил опять.

Внутри картина переменилась мало. Сожительница Лавровича сидела на том же месте и в той же позе. Только пистолета в её руках уже не было. Его забрал квартальный надзиратель, сидевший тут же за письменным столом и что-то записывающий. У окна стоял высокий сухопарый господин с глубоко посаженными глазами и курил.

– А, Василь Васильич, Петр Андреич, допросили уже? – повернулся всем своим плотным торсом Кулебяка. – Вот, я попросил доктора Жуховцева задержаться. Можете поговорить с ним.

Сухопарый господин поклонился:

– Жуховцев, Иван Аркадьевич. Честно говоря, мне особенно нечего вам сказать... Смерть наступила в результате трёх пулевых ранений, два из которых, по крайней мере, были смертельными. Первая пуля попала в живот и прошла навылет. После этого потерпевший выбежал из той комнаты в эту и попытался захлопнуть дверь, но ему это не удалось. Убийца выстрелил ещё два раза. Последний раз уже в лежащего. Пули попали область сердца. Вот, и всё. Когда я пришёл, делать мне уже было нечего.

– А как вела себя эта дама? – спросил Романенко.

– Да так же, как и теперь. У неё глубокий шок. Правда, вначале она всё повторяла: «Это я виновата. Гадина я. Лучше б мне вовсе не жить... Прости меня, голубчик...» Она ещё имя называла... Но не имя убитого, что меня удивило.

– Какое же имя?

– Из головы вылетело, простите. Я был занят осмотром жертвы, надеясь, что ещё можно сделать что-то... А она почти сразу замолчала.

– Странное дело, у кого же она прощения могла просить?

– Этого уж я не знаю. Я могу идти? Меня ещё сегодня ждут пациенты...

– Да, конечно, доктор. Спасибо вам.

– Всего доброго! – Жуховцев откланялся и вышел.

Романенко прошёлся по комнате и, остановившись возле Вигеля, сидевшего на диване и что-то рисовавшего карандашом в блокноте, заглянул ему через плечо. С белой страницы на него смотрел портрет безымянной сожительницы Лавровича.

– Ба! – ахнул Василь Васильич, прищурив бирюзовые глаза. – Да вы, Пётр Андреич, прямо-таки художник, как я погляжу! Как это ловко у вас вышло! А ведь пригодиться ваш портрет может, чтобы личность нашей дамочки выяснить.

– Вы всё-таки полагаете, Василь Васильич, что она и есть убийца? – спросил Вигель, пряча блокнот.

В этот момент вошли двое полицейских и, осторожно подняв под руки убитую горем женщину, увели её.

– Да все улики на лицо как будто!

– Как будто... Но есть много странностей.

– Каких же? – Романенко закурил папиросу и опустил на стул.

– Во-первых, открытый тайник, где покойник, по-видимому, хранил деньги и ценные бумаги.

– Он мог сам открыть его зачем-нибудь.

– Мог, – согласился Вигель. – Но почему при осмотре квартиры ни денег, ни ценных бумаг обнаружено не было? Вещи, принятые в заклад, на месте. Они хранились в шкатулке, в ящике бюро, запертом на ключ. Я ничего не путаю, господин Кулебяка?

– Никак нет. Всё так.

– Спрашивается, куда могли деться деньги и ценные бумаги? А также часы? Варвара Антиповна оказалась права: часов нет. Итого, на лицо кража!

– Да не спешите вы так. Часы покойник мог, в конце концов, потерять. Или отдать в починку. Что ещё вас не устраивает, милейший Пётр Андреевич?

– Ещё меня не устаивает само убийство. Пули были выпущены точно, метко, холодно-кровно. Если предположить, что стреляла вышедшая из себя от ревности женщина (впрочем, любящая женщина: помните сцену примирения, которую нам описал дворник?), то пули должны были бы попасть, куда попало. Более того, если она выстрелила в состоянии приближённом к помешательству, сгоряча, так сказать, то вид крови (вид страданий любимого человека!) должен был бы остановить её. Но нет! Она бежит за ним. И стреляет ещё. Причём, заметьте, точнее, чем прежде. И ещё раз – в лежащего уже! Нет, это никак не походит на убийство из ревности, в состоянии аффекта.

– Вы ещё и психолог! – усмехнулся Романенко. – Что ж, не оспариваю: в ваших доводах есть смысл. Эх, освинел народ: убивают, воруют – чем дальше, тем больше. Однако, пока эта метреска – единственная наша подозреваемая. К слову, забыл спросить вас, этим делом будет заниматься следователь Немировский?

– Да.

– Это хорошо. Это очень хорошо! Во-первых, замечательно умный человек, с которым работать в удовольствие. Во-вторых, чудо как с людьми разговаривать умеет. Может, и нашу даму разговорит. Если уж он не сумеет, так уж и не знаю...

– Так, если здесь работа завершена, не направиться ли нам прямо к Николаю Степановичу? Составим план расследования. Мне отчего-то кажется, что дело это весьма интересным будет.

– Романтик вы! – заметил Романенко. – Однако, вы правы, едемте. Иван Мефодьевич, заканчивай здесь всё, а мы уж пойдём, – повернулся он к Кулебяке.

– Будет сделано, Василь Васильич! До свиданья! – кивнул Кулебяка.

– И тебе не хворать, – Романенко накинул свой сак и вместе с Вигелем вышел на улицу. Там дожидалась их пролётка.

По дороге Василь Васильич спросил:

– А всё-таки какие версии у вас?

Вигель задумчиво сдвинул брови:

– Первая: убийство сожительницей из ревности со всеми не выясненными странностями. Второе: хладнокровное убийство ею же с целью ограбления... Впрочем, мало вероятно, потому что тогда бы она сбежала, а не осталась на месте преступления с оружием в руках и не звала бы на помощь. Может быть, у неё был сообщник. Ведь называла же она чьё-то имя, по свидетельству доктора. Он-то и совершил преступление, забрав деньги, а она помешалась, когда осознала ужас содеянного...

– Вам бы романы писать, – усмехнулся Романенко. – Это же не версии, а лабуда какая-то, уж извините. По мне, так есть одна ещё версия. Первая любовница Лавровича, которая требовала с него денег. Правда, непонятно, какую роль в таком раскладе играет наша таинственная незнакомка. Так что это тоже, конечно, версия сродни вашей... Романическая.

– А если ограбление? Вообще не связанное с его женщинами? Ведь никто не видел, кто входил и кто выходил от Лавровича сегодня! Может такое быть?

– Быть всё может. Но револьвер был в руках у этой очаровательной метрески, которую вы столь недурственно изобразили. Пока ясно одно: убил Лавровича кто-то из своих. Кто-то, кого он хорошо знал и от кого не ждал нападения. Более того, готовился с ним или с ней отобедать, водочки выпить да грибочками закусить. Чужих водку пить не приглашают. Тем более, ростовщики! Кстати, я бы водочки теперь выпил... Так жалко было её, разлитую там... Вы какую водочку предпочитаете, Пётр Андреевич?

– Кизлярскую, – улынулся Вигель.

– А я Ерофеича предпочитаю. Можно и лачком покрыть...

– Да нет, водка с пивом – это чересчур!

– Это вы от молодости говорите. Не привыкли ещё. Вот, раскроем это дело с вами и айда в ресторацию. В «Палермо»! Няни откушаем да калачей фаршированных! Настоящая русская еда! А лучше – в баню! Я баню очень уважаю. Из Ламакинских как заново родившийся выходишь! Вы как насчёт баньки?

– С удовольствием, Василь Васильич!

– Ну, вот, и славно! – улыбнулся Романенко, откинув голову и закрыв глаза. – Не поверите, милостивый государь, третьи сутки не сплю с этим жульём, горой его раздуй...

– Приехали! – доложил извозчик.

– Вот, чёрт, а? Так и не успел вздремнуть, – вздохнул Василь Васильич. – Найду этого сукина сына Рахманова, так самолично в битое мясо превращу! А я его... найду! Не родился ещё вор, которого бы Василий Романенко в Москве не нашёл!

Евдокия Васильевна Луцкая отложила счета и, откинувшись на спинку глубокого кресла, сняла очки и закрыла глаза. Мелодично звякнули украшавшие её запястья серебряные браслеты, следы былой роскоши... Когда-то Евдокия Васильевна была принята в обществе, блистала на балах и часто бывала в театре. С того времени осталась лишь до сей поры безупречная царственная стать, манеры, почти странные среди окружавшей её бедности, да эти браслеты. Когда-то у неё был свой дом, не большой, но уютный. Дом, где она была счастлива несколько лет, будучи женой лучшего, как казалось ей, человека. Однако, природа скупа на счастье и, дав его однажды в избытке, после компенсирует... горем. Горе в семью Луцких вломилось, как шайка разбойников-громил, варваров. Вначале сгорело дотла небольшое имение под Калугой, приносившее Луцким большую часть дохода, потом, не вынеся случившегося, ударом скончался глава семейства. Скончался, не оставив семье ничего, кроме долгов. С долгами вдова рассчиталась, продав дом, а сама вместе с дочерью, верной её нянькой, ставшей с той поры и кухаркой, перебралась в меблированные комнаты на Сретенском бульваре. По смерти мужа Евдокии Васильевне был положен пенсион, но был он весьма мал, и его не хватало. А ведь

дочери, барышне на выданье, нужно было хоть какое-то образование дать, одеться прилично. И комнаты должны были выглядеть хоть небогато, но достойно, чтобы нестыдно было принимать редких гостей. Просить у кого-то помощи Луцкая не желала. Мешала врождённая гордость.

– Я и умирать буду – стоя! – говорила она.

Эта гордая барыня, однако, втайне занялась вместе с няней шитьём, портя зимними ночами свои некогда сияющие глаза. В случае крайности, продавали оставшиеся ценные вещи.

Вскоре в новом жилище Луцких появился ещё один жилец. Его звали Сергей Никитенко. Был он студентом, но до того бедным, что не имел даже пальто, а в холод спасался пледом. Прежде Никитенко жил, как и многие студенты, в Латинском квартале, но, заболев чахоткой, вынужден был, не имея средств к существованию, оставить университет. Тогда-то и предложил он давать уроки нуждающимся по разным предметам за предоставление угла и пропитания.

Вначале Евдокия Васильевна была против, чтобы какой-то студент жил в их доме: мало ли, что ждать от него? Но когда он явился к ней, худой, бледный, с запавшими и болезненными глазами и длинными, прилипшими ко лбу волосами, в своей нищенской фризке, башлыке, пледе и ботинках, подошва на одном из которых отвалилась и была привязана платком, держа в одной руке связку книг, а в другой ящичек, в коем оказался микроскоп, старая барыня поняла, что просто не может выгнать этого несчастного, больного юношу на улицу, где бушевала зима, которая непременно свела бы его в могилу. Ей, всегда мечтавшей о сыне, стало жаль Никитенко, матерински жаль, захотелось приласкать его, обогреть... Луцкая взяла его учителем для своей дочери Зины не за знания, оценить коих не имела возможности, а из человеколюбия, которое не смогло убить даже собственное бедственное положение.

Впрочем, юноша, в самом деле, оказался знающим и с успехом обучал Зиночку математике, географии и иным полезным наукам, не исключая астрономии. Правда, он часто болел, а вначале, в первую зиму ту и вовсе несколько недель пролежал, харкая кровью, и лишь жарко натопленные комнаты и заботы няни, Нины Марковны, а также участие Евдокии Васильевны и Зины, поставили его на ноги. С тех пор прошёл почти год, и за это время Никитенко стал для Луцких членом семьи: сыном, братом – в общем, человеком родным и дорогим.

Вот, и теперь, сквозь тонкую перегородку, Луцкая слышала, как Серёжа растолковывал Зиночке очередную теорему, а та смеялась в ответ:

– Серёжинька, может быть, я вам лучше на фортепиано сыграю?

– Сыграете, Зиночка, но после урока, – тихий, вкрадчивый голос.

Евдокия Васильевна запахнула душегрейку и вздохнула:

– Ох-ох-ох, жизнь наша сибирская: куда ни кинь – всюду клин... Се терибль!⁴

– Что, матушка, опять случилось что? – спросила Нина Марковна, входя в комнату, чуть приволакивая ногу.

– Да всё то же, Марковна... Денег нет, ничего нет... Ты, чаю, с базара?

– С базара, родимая. Цены-то прямо басурманские! Не подступиться ни к чему... Вот, прежде-то жизнь была. Манность небесная да и только!

– Что в городе-то слышать? Потешь меня, расскажи что-нибудь...

– А что ж рассказывать, матушка? Говорят, будто бы Брюс воскрес-таки и зараз по городу шастает. Хотя и расчленил его ученик-то подлый, а сам с его женою, ведьмой, сбежал, а Брюс таки посильнее его колдуном оказался. Вот, минуло сто лет, он и возвратился. Такие-то страсти, матушка! – старуха округлила глаза.

– Марковна! – рассмеялась Евдокия Васильевна. – Да ведь это же чушь всё... Глупости... Неужто ты веришь этим рассказням?

– Ты, родимая, сама же просила рассказать, о чём говорят. А поверить-то тоже можно. Нынче-то такие дела тёмные делаются, что не приведи Господь! Люди среди бела дня пропадают. А иных убивают... Вот, намерни, сказывают, ростовщика в собственному дому не

то застрелили, не то зарезали. Полюбовница евовная... Кровисчи там было, кровисчи! Мне молочник говорил...

– Ну, полно, Марковна, ужасы всякие рассказывать! Се терибль!² И так кошки на душе скребут...

– А ещё торговец один всякие женскому полу нужные вещи предлагал... Ходит с узлом, а в узле кружева всякие да платки, да шали...

– Вот ещё! Нужна-то нам чухонская рухлядь! Нам бы, Марковна, – Луцкая понизила голос, – Серёже пальто, какое ни на есть, справить. Зима уж почитай! А у него пальто нет... Опять ему всю зиму из дому носу не высовывать, у печи сидеть... Нужно ему пальто. Ведь хворый он такой...

– Нужно-то оно нужно, да откуда ж взять? У нас же грош с копейкою не сталкивается! – вздохнула няня.

– А то я сама о том не знаю... Так ведь продать можно что-нибудь... Серьги мои, например. Анатолий в прошлый раз за весьма серьёзную сумму кольцо моё продал... А Зиночке такой чудный медальон подарил... Что-то не заходил он давно к нам... Странно... Уж не забыл ли он нашу Зину? Ведь лучшей-то пары ей не сыскать... Кругом-то всё алтынники да охмурялы... Честного человека и не отыщешь!

– Ох, Евдокия Васильевна, не во гнев тебе будет сказано, но не нравится мне ваш Анатолий! – покачала головой Нина Марковна.

– Да чем же, помилуй?

– Лицом он, матушка, бел, а душой черен! Помяни моё слово!

– Глупости ты болтаешь, Марковна! – рассердилась Луцкая. – Мы Анатолию стольким обязаны! Уж он и в делах мне помогает, и Зиночку на выставки да в приличные места водит, и подарки дарит, и вежлив, и собою хорош! Сразу видать, порядочный человек!

– Воля твоя, барыня, а не верю я ему.

Евдокия Васильевна махнула рукой, звякнув браслетами:

– Пойди лучше на кухню, принеси-ка мне травничку. Нервы что-то шалют у меня...

– Сейчас, матушка, – кивнула няня, кутаясь в залатанную местами шаль, и направилась на кухню.

Анатолий, ставший причиной раздора в доме Луцких, появился прошлой весной. Тогда Нина Марковна и Зина возвращались с базара. Ноша их была тяжёлая, и обе изрядно запыхались. Внезапно рядом остановилась коляска, и молодой человек учтиво предложил подвезти их. Зина немедля согласилась, и Нина Марковна сочла, что ничего дурного в том, чтобы воспользоваться любезным предложением, нет.

На другой день Анатолий, оказавшийся студентом и представившийся отпрыском довольно известной фамилии, явился к Луцким с визитом и сразу покорила и мать, и дочь внешним изяществом, безупречностью манер, тонкостью беседы и тем, что пришёл не с пустыми руками, а с подарком: большой коробкой шоколадных конфет. Молодой человек был весьма тонок в кости и двигался, танцуя, точно вместо суставов у него были шарниры, а к подошвам приделаны пружины. Черты белого лица его, обрамлённого белокурыми волосами, были столь мелки, что, пожалуй, больше бы подошли женщине, нежели мужчине. В довершении всего от Анатолия пахло флёрдоранжем, а руки его были холёны и изобличали пристальное слежение за собою. В манерах и обхождении его было также очень много женского. Женственность – вот, пожалуй, было слово, определяющее всё существо Анатолия.

Нине Марковне это не понравилось сразу.

– Разве ж это мужчина? Красная девица и только! И весь-то такой сахарный да сладкий, что аж противно: приторный весь...

– Так сладок мёд, что, наконец, и горек... – согласился с нею Никитенко.

– Да что это вы, Серёжинька, говорите такое? – возмутилась Зина.

– Это не я... Это Шекспир... – отозвался Никитенко.

– Да вы просто завидуете ему! Потому что он красив, знатен и деньги имеет, а у вас нет ничего!

– Благодарю, что напомнили, – Сергей закашлялся и вышел.

Зина смутилась и, поймав уничижительный взгляд няни, побежала вслед за своим учителем, чтобы просить прощения. Мать же её пожала плечами:

– В конце концов, не ему, бездомнику, под нашей крышей приют имеющему, такие рассуждения излагать!

Зина в Анатоля влюбилась. Он казался ей принцем, о котором она так мечтала. Когда он приходил, она расцветала, сама поила его чаем, играла ему на фортепиано, а иногда они вместе гуляли...

Однажды Анатоля застал Евдокию Васильевну сильно огорчённой.

– Что-то случилось? – спросил он. – Могу ли я помочь вам? Располагайте мною!

– Ах, Анатоля, я хочу заложить мою брошь, но решительно не предполагаю цены её... Думаю, рублей сто она стоит... Я так неопытна в таких делах!

– Что ж, это неудивительно. А могу ли я взглянуть на брошь?

– Да, пожалуйста, – кивнула Луцкая, доставая из комода шкатулку. – Мон дьё!⁵ Сущее разорение, сударь мой, сущее разорение...

Анатоля посмотрел брошь и сказал уверенно:

– Она стоит больше ста рублей. Конечно, в лавке всю цену не дадут. Но я мог бы снести её одному ростовщику, с коим прежде приходилось мне иметь дело, и, думаю, мне удалось бы отстоять ваши интересы в той мере, в какой это возможно.

– Я была бы вам очень благодарна, но... – Луцкая замаялась.

– Вы боитесь отдать дорогую вещь в руки человека, ещё не очень близкого? – докончил Анатоля. – Совершенно понимаю. Вы абсолютно правы. В наше время никому доверять нельзя. Я оставлю вам сто двадцать рублей и завтра же снесу брошь, куда следует. Думаю, что принесу и ещё дополнительно некоторую сумму. Согласны?

– О, вы благороднейший человек, Анатоля! Моя признательность будет безграничной! Же ву ремерси тре бьен!⁶

– Дё рьян!⁷ – улыбнулся Анатоля, галантно целуя руку Луцкой.

В тот же день он отчислил Евдокии Васильевне сто двадцать рублей и забрал брошь. На другой день он принёс ещё сорок рублей к величайшей радости Луцкой. С тех пор она советовалась с Анатодем во всех делах и уже не раз поручала ему заложить или продать ту или иную свою вещь.

Пару месяцев назад Анатоля был вынужден уехать по семейным делам в Петербург, и Евдокия Васильевна с дочерью не находили себе места, пока он, наконец, не вернулся. Вернулся Анатоля очень усталым.

– Уж не захворали ли вы, шер ами⁸? – обеспокоено спросила Евдокия Васильевна.

– Чепуха... Немного простудился в столице. Знаете ли, там ведь сыро очень. Климат не то, что у нас. Вот и не уберётся.

– Вы уж берегите себя, сударь мой! Я ведь без вас, как без рук теперь!

– Не беспокойтесь, Евдокия Васильевна! Я всегда готов вам услужить! – улыбнулся в ответ Анатоля немного усталое.

И всё-таки Нине Марковне не нравился этот смазливый и услужливый молодой человек, но даже самой себе не могла она объяснить, чем.

Войдя на кухню, старуха застала там Никитенко. Он сидел, упёршись острыми локтями в стол, низко опустив голову, и о чём-то думал. Нина Марковна ласково погладила его по плечу:

– Ну, что ты, яхонтовый мой, загрустил? Давай-ка я тебе супа согрею. Тебе горячего нужно больше есть, а то, не приведи Господь, опять расхвораешься! И хлебца горбушку отрежу тебе. Тёплый ещё: только что из пекарни. Ну, что за кручина у тебя? Иль нездоровится?

– С Зиною я опять едва не поссорился, Нина Марковна, – вздохнул Серёжа. – У ней теперь весь разговор только об её Анатоле. Что сказал, да как посмотрел... Да всё в окно поглядывает: не идёт ли? А я сердцем чувствую, что дурной он человек... А, может, и впрямь от зависти я на него взелся. И сказать ей не смею! А каково мне слушать её? Слушать о том, какой он прекрасный, о том, как она его любит? Ведь это же невыносимо... Я одной вам скажу, Нина Марковна, потому что мочи нет в себе держать: я ведь Зинаиду Прокофьевну больше жизни люблю!

– Батюшки святы! – старуха присела на край стула, подпёрла рукой голову. – Ну и дела...

– Вы только не сердитесь на меня! И худого не подумайте! Я Зине только счастья желаю! А со мною – какое ж счастье? Я ведь хуже пустого места... Бездомовник нищий. Даже пальто у меня нет. Студент-недоучка. А ещё и больной! Я ж только землю зазря копчу! – голос Серёжи задрожал. – Я б к её ногам мир бросить хотел, я бы... А что ж я могу ей, которой нет лучше в мире, дать? Только сердце своё, жизнь свою... А много ли это? Я и смотреть-то не смею на неё. От стыда за себя. За то, что, если я теперь ещё существую и солнце вижу, то лишь по неизъяснимой доброте её матери, меня пожалевшей... А каково это жить, зная, что живёшь лишь благодаря чьей-то к тебе жалости?! Я от всего этого иной раз убить хочу! Не знаю, кого! Может быть, себя... Она моего страдания не знает, любви моей не ведает, и, дай Бог, чтобы не узнала. Этого уж не простит она мне! И тогда я даже быть рядом с нею, как друг, права иметь не буду! Нельзя любить такому, как я, человеку. И меня любить нельзя. Это же преступление... Непростительно!

– Да что ж ты говоришь такое, родимый! – сплеснула руками Нина Марковна. – Окстись! Христос с тобою, милый мой! Да тебе ли на себя такое наговаривать? У тебя ж душа-то андельская. Да нешто ж так себя изводить-то можно?!

Никитенко опустил голову на стол. Плечи его дрожали от рыданий. Нина Марковна обняла его, прижала его голову к груди и, глядя по волосам, зашептала:

– Ну, что ты? Что ты? Успокойся, яхонтовый мой. Христос терпел и нам велел. Ты думаешь, у меня жизнь сладкая была? Эх, ты, чадунюшко неразумное... Меня девчонкою замуж выдали... Мы тогда в деревне ещё жили. Муж меня смертным боем бил, а в семье его надо мной потешались. Всю самую трудную работу на меня взваливали: в поле, дома... Придётся иной раз ночью, дух вон от усталости, а этот ещё с ласками лезет... И одна думка в голове: хоть бы ты сгинул, проклятый... Я и брюхата была, а он меня кулаками потчевал. Как не забил до смерти, не знаю... Пятеро детишков у меня было, и все преставились. До трёх лет лишь сынок второй дожил, а прочие и того прежде померли. Когда третьего схоронила, так меня барыня кормилицей к Зиночке взяла... С той поры я при них... Муж по пьяному делу убился... А я тому, прости Господи, так уж рада была, что и слёз для покойника не нашла. Ничего, кроме страха, за всю жизнь к нему не было у меня. Ничего, кроме боли, от него не знала... Так-то, милый... Такая-то жизнь у меня была...

– Так для чего же жить, Нина Марковна? Если вся жизнь лишь боль и страх и ничего больше? – тихо спросил Серёжа.

– А для того, что закон такой: дадена Богом жизнь – значит, живи. Крючься, зубы сцепляй, глотай слёзы, а живи... Я, вот, тебе такой сказ скажу. Жил был человек. И жизнь его казалась ему нестерпимо тяжёлой. Тогда обратился он к Богу: «Зачем дал мне такую великую ношу? Не по силам она мне! Облегчи!» И Бог облегчил ему ношу. Но и новый груз показался человеку чрезмерным и снова стал он вопить к Господу, чтобы облегчил он его ношу. И опять Бог внял его мольбе. Так продолжалось несколько раз, покуда ноша не исчезла вовсе. Да, вот, оказалось только, что именно эта ноша и удерживала его на земле, а без неё оказался он легче

воздуха, и поднял его ветер и унёс, и стал носить по свету. И не может человек ни к земле пристать, ни на небо подняться, где претерпевшие покой обрели, так и мотается между ними вечность, ветром носимый, и плачет об отвергнутой ноше своей... И теперь, должно, где-то витает он...

– Мудрая ты, Нина Марковна! И откуда в тебе столько мудрости?

– Поживи с моё, яхонтовый мой, тоже мудрым будешь...

В этот момент из гостиной послышался крик Евдокии Васильевны:

– Марковна! Марковна! Куда ты пропала? Травник мой готов ли?

Нина Марковна охнула:

– Батюшки святы! Старая я полудурья! Меня же барыня за травничком послала... Нервы у ней шалют нынче... А я и забыла с тобою! – она проворно достала с полки склянку с настойкой и, наполнив ею рюмку, направилась к двери, крикнув: – Иду, матушка, иду!

Обернувшись к Никитенко, старуха сказала:

– Сиди здесь и никуда не уходи. Вернись – обедом тебя кормить буду! Худенькой ты – в чём только душа-то держится? Сиди, милый! Я сейчас...

– Марковна! Да из ума ты, что ли, выжила?! – раздался грозный крик Луцкой.

– Бегу, матушка, бегу!

Нина Марковна ушла, а Никитенко с грустью посмотрел за окно, где уже падал первый снег. Прошлой ночью ему снилось, как они с Зиной зимою катаются с горы на санках. Она – румяная, красивая, глаза её горят. Она – смеётся. Он смеётся тоже, глядя на неё. И на нём – не плед, а пальто... Сани опрокидываются, и они падают в сугроб, и от этого лишь веселее им. И где-то внутри разрастается солнечный ком, счастье, которого бы хватило на весь мир.

Нина Марковна вскоре вернулась и, ставя на огонь кастрюлю с супом, сказала Серёже:

– Я наемни вещи старые перебирала и нашла костюм и несколько рубашек, что от покойного барина остались. Я-то об них забыла давно, а барыня – и подавно, а тут, вот, нашла. Я их простирну и ушью: авось, тебе сгодятся. Жаль, тёплые его вещи продали мы с самого ещё началу мытарств наших.

За стеной раздались волшебные звуки фортепьяно, клавиш коего коснулись нежные пальцы Зины, и её мелодичный голос зазвенел:

– Дышала ночь восторгом сладострастья,

Неясных дум и трепета полна,

Я вас ждала с безумной жаждой счастья,

Я вас ждала и млела у окна.

Наш уголок я убрала цветами,

К вам одному неслись мечты мои,

Мгновенья мне казались часами...

Я вас ждала; но вы... вы не пришли...

И тотчас в гостиной послышались шаги Евдокии Васильевны, и уже в комнате дочери её голос произнёс сурово:

– Сладострастье... Млела! Откуда вы понабрались этого, машер?! Ведь это неприлично, ей-Богу!

– Маман, но ведь это очень известный сейчас романс!

– Мон дьё! Се террибль! Изволь уж петь что-нибудь более достойное!

– Хорошо, маман... А он, в самом деле, не пришёл...

– Придёт – никуда не денется!

Нина Марковна покосилась на Никитенко:

– А, по мне, милый мой, так тоже: лучше бы и вовсе он не приходил... Дурной он человек, сердцем знаю... Не верю я ему...

– Дай Бог, чтобы вы ошиблись, а я сошёл с ума от зависти... – прошептал Серёжа. – Ведь его Зина любит...

– Дай Бог... – вздохнула няня.

Некогда на углу Певческого переуллка возвышался обнесённый забором, похожий на крепость, дом генерала-майора Николая Петровича Хитрова. Сам генерал, впрочем, в этом диком месте не жил. Жил он неподалёку, в доме №39, а тот же дом, №24, населяла его весьма многочисленная челядь. Территория, прилегающая к сему дому, громадный пустырь, также находилась во владении генерала. После кончины его в доме образовался притон, а пустырь, именуемый Вольным местом, обратился в рынок, названный в честь покойного хозяина Хитровым.

На Хитров рынок стекались обычно самые разнообразные обитатели московского дна. Человек, зашедший сюда впервые, с непривычки мог оробеть. Впрочем, торговля на вольном месте шла бойко. Здесь можно было купить всё, что угодно, за самую умеренную плату. Поэтому люди бедные отоваривались преимущественно на Хитровке. Здесь у старьёвщиков можно было разжиться поношенной и залатанной, но, однако же, вполне пристойной ещё одеждой и обувью. Продавалась и всякая полезная в хозяйстве утварь, и старые потрёпанные книги, и разные «чудеса для развлечения», и лечебные травы и снадобья. Можно было разжиться и весьма дорогими и хорошими вещами, продаваемыми из-под полы, если, конечно, покупателя не смущало, что они краденные. Приехавшие в столицу крестьяне, называемые пришлыми, продавали птицу, яйца, молоко, овощи и фрукты по сезону. И всё это – вперемешку. Всё – обильно разбавлено толпами нищих, просивших подаяния. Попадались, впрочем, бродячие артисты, кои закатывали для изумлённой публики диковинные представления с огнеглотанием, хождением на руках, жонглированием и т.п.

– Не проходите мимо! На ваших глазах всемирно известный шпагоглотатель проглотит только что купленные кухонные ножи!

Продавец ножей восторженно крикнул с места:

– Приятного аппетита! А, ежели угодно, так я вам ещё и топор продам! Не угодно ли?

– Нет, топоры мы ещё не глотаем...

– Жаль!

Среди толпы ходила опитущая тётка с одутловатой физиономией, неся на одной руке орущего младенца, а другой – держа за ручку девочку лет четырёх.

– Люди добрые, помогите сиротам горемычным! Три дня голодаем, с голоду помираем. Подайте, добрые люди! Не дайте дитяткам невинным пропасть!

– А на водку у тебя, шалава, есть деньги?! У кого младенчика-то стырила, бельма твои бесстыжие?!

Тётка быстро ретировалась. Ребёнок перестал кричать. Видимо, оттого, что «мать» перестала щипать его, чтобы он слезами своими вызвал у публики жалость.

Меж рядами запестрели яркие юбки цыганок.

– Барыня-сударыня, позолоти ручку, я тебе на короля бубнового погадаю! Близок он – бубновый-то твой король! Да за ним пиковая дама, разлучница, по пятам ходит. Стерегись её, милая! Вижу впереди у тебя хлопоты пустые да дорогу дальнюю, вижу гость к тебе едет нежданный, едет для разговору сурьёзного! Жди его, барыня-сударыня!

И позолотила ручку оробевшая, окружённая смуглыми гадалками со всех сторон, жертва...

Посреди рынка сидел громадного роста босяк, окружённый слушателями.

– Эх, братцы, где я только ни был! – окал он, гладя бороду. – По Волге родимой ходил, в Киевскую Лавру пеший дошёл, чтобы святыням тамошним поклониться, во Сибири-матушке

был, а ещё – на востоке, в самой земле Бухарской. Люди там всё не наши, веры чужой, нравов неизвестных. А зато тепло там да фрукты диковинные прямо на улицах растут: рви и уплетай за обе щёки! Да только, братцы, хоть и хорошо там, а среди чужих людей тяжело жить! У них ведь даже храма православного нет, чтобы голову бедовую приклонить. Не выдержал я такой жизни и ушёл оттуда.

– Басурмане! А верно ли, будто у них гаремы там? По несколько жён у всякого?

– Верно, мать! И ходят они с лицом закрытым, в одеждах просторных. Только глаза видны одни! Блеснёт такая краля глазами из-под покровов своих, и как в сердце – два кинжала турецких! Так и полоснёт! И пропал!

– Надолго ли в Москву возвратился?

– Как знать! Я ведь на месте усидеть не могу. Вот, жил однажды в пустыни одной. Монахи там учёные. Благодать Божья! Сердце слезами умильными обливается в сознание ничтожности своей! Ан не усидел... И оттуда ушёл.

– Тяжелёхонько, поди, по свету-то весь век мыкаться!

– Ничуточки. Босяки – народ славный! Из нашего брата много достойных людей вышло! Вот, хотя бы Гоголя взять! Сочинителя! Тоже из наших, из босяков! Долгие годы по свету хаживал, а потом, вот, сочинять стал, прославился.

– А ты, может, тоже писать станешь?

– А почему бы нет? Видал-то я много! Моей бы жизни на десяток романов хватило! Но покамест погулять ещё хочу, мир посмотреть. Вот, думаю до самой Святой земли податься, Гробу Господню поклониться! А, может, повезёт мне: отыщу я и царство Опоньское... Мечта у меня с ранних лет такая.

– Только уж если найдёшь, так дорогу не забудь нам сказать! Нам тоже жить порядочно охота.

Среди разношёрстной публики Хитрова рынка встречались подчас и господа состоятельные, заходившие сюда подчас из любопытства. Впрочем, делать этого им никак не следовало. Опытный глаз тотчас выхватывал «солидную дичь» из толпы, и начиналась охота – спектакль, расписанный по актам и ролям.

В тот день в хаосе вольного места был замечен дородный господин приятной наружности в весьма дорогом пальто, неспешно прохаживающийся между рядов, осматривающийся, покупающий какую-то ерунду, слушающий праздные разговоры. Особенно заинтересовался он «копчушками», новыми иконами, которые умельцы закапчивали под старину. Опытному единственному глазу смотрящего достало четверти часа, чтобы приметить, в каком кармане носит господин довольно толстый бумажник с ассигнациями... Как только это было выяснено, в действие вступил новый персонаж: тырщик. Могучий верзила направился за жертвой, умело действуя локтями, отталкивая народ, наседая на богатого господина и заставляя его сворачивать в нужные ряды. Господин, явно встревоженный ускорил шаг, но очень скоро стал задыхаться, и тогда тырщик начал отставать. Когда он исчез, господин проверил, на месте ли бумажник, обрадованный, что отделался от преследователя, утёр лоб и остановился перевести дух, не замечая стоящего неподалёку человека с чёрными вьющимися волосами и чёрными блестящими глазами.

Между тем, это был сам ширмач, то есть карманник. Когда жертва, успокоенная, обрадованная и утеревшая бдительность, переводила дух, он с совершенно равнодушным видом прошёл мимо неё, и даже самый опытный глаз не заметил бы, когда его рука успела извлечь бумажник из пальто господина. Разумеется, и сам господин ничего не почувствовал.

Ширмач сделал несколько шагов, и к нему подбежал коротко стриженный мальчонка, убегал, который, получив из рук ширмача добычу, опрометью умчался с нею.

Когда ограбленный обнаружил пропажу, было уже поздно. Никого из четырёх грабителей уже не было поблизости, и напрасно он кричал на весь рынок с багровым лицом, размахивая кулаками:

– Караул!!! Ограбили!!! Держи вора!!!

Держать было уже некого. И подоспевший городской лишь развёл руками:

– Ваше благородие, так зачем же вы в эдакое место-то? Здесь же, известное дело...

Жульё!

– А, на ка-ко-го чёрты ты, дурак, поставлен здесь??? Не для того ли, чтобы честных людей от воров оберегать?!!! Да я тебя в бараний рог! Я к твоему начальству пойду!!!

Таким образом, весь гнев жертвы обрушился на несчастного городского, который стоял, вытянувшись по стойке смирно, красный и готовый провалиться сквозь землю. А вокруг шурилась, хохотала и тыкала пальцами оборванная, серая, в шрамах и язвах, масса...

Ширмач же спокойно вышел с вольного места и, чуть прихрамывая, прогулочным шагом направился к ближайшей подворотне. Там уже дожидалась коляска, запряжённая двумя быстрыми конями. На месте извозчика сидел верзила-затирщик, а в самой коляске – одноглазый смотрящий, мальчишка-убегало и очень красивая молодая женщина.

Ширмач блеснул оскалом белых зубов, чмокнул красавицу в щёку и сел рядом с нею:

– Ну, маруха, не соскучилась без нас?

– Не называй меня марухой, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что мне это неприятно.

– Дура! Маруха – это честь! Подруга вора – чего ж тебе не нравится? Или я для тебя нехорош стал? Может, стыдишься? Чего молчишь?

– Не говори глупостей!

– Гранила, а барин-то богатый оказался! Пятьсот рублей ассигнациями, каково? Вот, ведь чурбан, с таким богатством – да на Хитровку! Небось, чки божие⁹ прикупить хотел. К ним всё приглядывался, – просипел смотрящий, скручивая папиросу.

– Да, добре поторговали нынче, – сказал затирщик, пуская лошадей рысцой.

Но ширмач молчал, глядя исподлобья чёрными углями глаз.

– Ты что такой невесёлый нынче, гранила? – осведомился смотрящий. – Торговля, как по маслу прошла, денег много у нас... А ты мрачный, аки сыч в дупле, сидишь...

– Сам не знаю, – вздохнул ширмач. – Какая-то мерехлюндия напала на меня. Так и точит, так и точит... Точно Милосердную в душе поют. Ещё сон скверный привиделся, будто бы по Владимирской дороге опять иду... И поют кругом меня как раз эту Милосердную... Так тошно сделалось. Трёх лет не прошло, как я по этой дорожке в кандалах шёл... На вечную каторгу. Да, вот, чёрт ли поворожил, а вернулся в столицу обратником... А теперь думаю, что не придётся мне в другой раз по Владимирке идти. Ждёт меня петля...

– Да что ты говоришь?! – вскрикнула маруха, бросаясь ширмачу на шею. – Не смей, не смей... Какая петля? Зачем петля? А я как же? Никто нас не поймает... Ведь осторожные мы, ведь ты же, как дьявол сам, хитёр...

– Дура... – вздохнул ширмач, глядя красавицу по голове. – Сколь верёвочке не виться, а конец всегда один... Тут уж и на судьбу пенять не приходится.

– В полиции дураки! Они не поймают тебя! Никогда! Никогда!

– Поймают, Дивушка. На всякого волка матёрого свой пёс отыщется. Да и не все лягавые глупцы... Есть, например, такой Василий Романенко... Он в прошлый раз меня изловить сподобился. И нынче изловит. Умный, сволочь...

– Так, может, его, гранила, того... Укокать? Чирикнуть ножичком в тёмном закоулочке – и делов! – осторожно предложил смотрящий.

– На всё-то один ответ у тебя. Нет, его трогать не хочу. Конец всё одно будет. Всё одно изловят. Да, коли он, так хоть незазорно. Он – ровня. Уважаю я его. Ни хабарит, ни чинов не дерёт, а лишь землю носом роет. Дело своё знает. Нет, я таких не трогаю.

– Блажной ты какой-то, гранила... То у тайного советника извернёшься часы сдербанить, то директора департамента петербургского в карты обмишуришь, то человека, что цыплёнка, прибьёшь, а инорядь в какие-то благородные заморчки вдаёшься: ровня, уважаю... Где это видано, чтобы гранила лягаша уважал?!

– Заткнись! – свирепо оскалился ширмач. – А, скажи-ка, сколь у нас ныне денег всего?

– Так пятнадцать тыщ будет, ежели не больше! Благо ащё должок-то старый лакуза нам возвернул! – доложил смотрящий.

– Эко гроши-то в карманах грызутся! – воскликнул ширмач. – Гуляем! А то через день уже пост начнётся, а в пост гулять дурно! Айда к Шипову! Напоследок! Покутим от души, чтобы чертям тошно сделалось!

– А и то правильно, – одобрил затирщик, хлестнув коней. – Самое верное дело от всяческих мерехлюндий. Р-развернись душа – жизнь хороша!

Коляска мчалась по городу, и, видя в ней хохочущего смуглого красавца с чёрными кудрями, жмущего к себе рыжую красавицу, и галдящую его свиту, прохожие отшатывались в сторону в испуге, а иные и крестились набожно:

– Никак сам Антихрист едет? Спаси Христос! Прости грехи наши тяжкие!

Шиповым или Шиповской крепостью именовался в Москве бывший дом генерала Шипова, жившего ещё во дни Императрицы Екатерины Великой. Располагался он на Лубянской площади. Дом этот давно уже населяли бедные ремесленники и всякого рода сомнительные личности, облюбовавшие себе бывшую генеральскую вотчину. В лавках у Шипова торговали одеждой и различной рухлядью. Тут же располагались пивные и закулочные, а также трактир, где любили прогуливать шальные деньги личности с сомнительной репутацией.

Ширмач с подручными с шумом ввалились в трактир, где по углам сидело несколько непрезентабельного вида субъектов, а, кроме них, несколько девиц известного поведения.

– И чай пила и булки ела, позабыла, с кем сидела! – визгливо голосила одна из них, пьяная в дым, неприлично закидывая вверх ноги и хохоча.

– Замолкни, шишимора! – рыкнул на неё бородатый мужик, по виду извозчик, с другого конца трактира.

Девица вскочила, повернулась к нему спиной и, хлопнув себя по откляченному заду, крикнула:

– А это видал? Сам заткнись!

Ширмач скинул с себя серую волчью шубу и, лязгнув зубами, рывкнул:

– Трактирщик, принимай гостей!

– Желаете отобедать? – осведомился тотчас прибежавший хозяин заведения.

– И отобедать, и отужинать, и отзавтракать! Мы нынче тоску разомкнуть хотим! Гулять хотим, так, чтобы трещало всё кругом, чтобы страшно было! – ширмач достал пачку денег и, не считая, швырнул их трактирщику. – Пиковые деньги сразу прожигать надо! Они – беду приносят!

– Что прикажете подать?

– Всё, всё подавай! Всё, что есть, подавай! А, чего нет, то найди и тоже подай! Водки, вина! Чтобы напиться мне до беспамястства, чтобы отступила хандра от сердца!

По знаку трактирщика половые тотчас же начали собирать на стол.

– И музыки подай! – велел ширмач. – Цыган позови! Я цыган люблю! Я сам из цыган! Моя мать цыганкой была... Зови цыган! Всем заплачу! За всё заплачу!

И пошёл пир горой. Тот чисто русский не знающий меры и удержу разгул, чисто русское горькое веселье, веселье без радости, веселье не для радости, а для забвения, веселье, чтобы спрятать горе от других, но прежде – от себя. Увидите такую весёлость – не верьте ей. Это весёлость – уже от отчаяния крайнего, от горя безысходного, худшая, чем самые горькие слёзы,

потому что безнадежней, потому что только от безнадежности окончательной над горем смеются, когда плакать уже нет слёз...

Ширмач сам не знал, отчего так горько ему. Никогда ещё так не грызла его хандра: даже, когда шёл он три года назад по Владимирской дороге, а кругом него такие же, как он, каторжане, в кандалы закованные, выли, страшно и горько, Милосердную. Он сидел за ломившимся от снеди столом в своей алой рубахе, но почти не ел, а лишь пил, занюхивая рукавом, горькую водку и смотрел, как веселились его подельники. А те пустились во все тяжкие: пробовали вина, жадно набрасывались на еду, щупали окруживших их пьяных трактирных девок, сажали их себе на колени, тискали грязными лапищами, а те хохотали... Мальчишка-убегало смотрел на всё это, разинув рот, почти с восторгом, хлебал вино и уплетал пирожные, заказанные специально для него. А маруха сидела рядом с ширмачом, положив огненно рыжую голову ему на плечо, гладила его большой смуглой рукой, прикрыв зелёные кошачьи глаза, и курила, держа мундштук в изящных пальчиках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.